

[Polaris]

АНАТОЛИЙ
ЭЛЬСНЕР



ЖЕЛЕЗНЫЙ
ДОКТОР

Собрание сочинений

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССVII



Salamandra P.V.V.

АНАТОЛИЙ ЭЙСНЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том I

**Анатолий
ЭЛЬСНЕР**

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОКТОР

Роман

Собрание сочинений
Том I

Salamandra P.V.V.

Эльснер А. О.

Железный доктор: Роман (Собрание сочинений. Т. I). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 234 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCVII).

Роман «Железный доктор» открывает в серии «Polaris» впервые издающееся собрание сочинений А. О. Эльснера (1856 — после 1916), забытого прозаика, поэта, драматурга и автора фантастических и оккультных романов.

«Железный доктор» — вероятно, первый в русской литературе роман о серийном убийце. Это неоготический роман ужасов, полный страстей, видений и трупов. Героя книги, модного доктора Кандинского, сегодня назвали бы классическим социопатом. Себя и свой холодный скептический разум Кандинский ставит выше всего человечества, не верит ни в добро, ни в зло, воспринимает людей как биологические «машины» и жестоко расправляется с пациентами, видя в этом способ избавить мир от бессмысленных страданий.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОКТОР

Роман

Если моя книга никому не понравится, то она все-таки может быть хороша. Если она некоторым понравится, то наверное хороша. Если же она всем понравится — то, наверное, никуда не годится.

Дидро

В одном из номеров Н-ой гостиницы было много студентов. Играли в винт, потом ужинали, потом опять пили. В конце концов высокий белокурый студент — Бриллиант — стал готовить жженку. Лампы были потушены и лица в синем свете горящего сахара казались призрачными. Бриллиант высоко поднял бокал и с шутливым видом провозгласил:

— Господа, вы, конечно, очень мало подготовлены к тому, что я вам должен сообщить сию минуту. Куницын, этот самостоятельный юный жрец Эскулапа с гордой душой, Куницын, который всегда проповедовал принцип полной самостоятельности, этот Куницын одним своим убийственным поступком опрокидывает все величавое здание, эффектно вздвинутое на шатком фундаменте из цветистых слов и фраз. Но прежде, чем я поведаю вам о его преступлении, предлагаю, господа, окиньте его величавую фигуру вашими презрительными взорами.

Стройный брюнет, на которого обратились при этих словах глаза всех присутствующих, стоял с видом наружного спокойствия в бледно-матовом лице и, чтобы скрыть выражение своего счастья, хмурил свои брови над черными, весело вспыхивающими глазами.

Бриллиант с комическим пафосом продолжал:

— Теперь переведите ваши взоры на сию молодую особу — Лидию Ивановну Травину, и смотрите на нее с самым уничтожающим презрением. Вспомните, господа, что она в течение нескольких лет, находясь в нашем холостом кружке, не только с презрением отвергала брачные узы, но даже прямо заявляла, что это достойно разве пауасов и что она сама, подобно госпоже Сталь, не имеет пола. Она говорила нам только о звездах, планетах, об обширных морях, омывающих материк Марса, о бесчисленных светилах, зажженных безличной природой, и речи ее были полны величия и самой назидательной строгости. Смотрите же на нее сначала, смотрите хорошенько.

Девушка лет двадцати с короткими, доходящими до плеч светло-каштановыми волосами, с чрезвычайно нежным лицом, на котором теперь пылал яркий румянец, закинула назад голову и залилась веселым счастливым хохотом, звенящим, как колокольчики; горло ее билось, как у поющей птички.

Бриллиант продолжал:

— Преступление их обоих ужасно, господа. Вообразите, они задались целью оплести себя тяжелыми брачными кандалами в предположении, что вдвоем им веселее будет совершать свой жизненный путь.

— Кандалами! — воскликнула девушка с пламенным оживлением. — Вы, кажется, воображаете, что мы два каторжника. Совсем вы ошибаетесь, — если я и наложу на него цепи, то носить их будет совсем не обременительно: я их совью из одних роз чистейшей любви.

Она не выдержала и снова рассмеялась, но как только ее голова опять стала отклоняться назад, Куницын охватил ее талию руками и, видя пред собой ее смеющиеся розовые уста, прильнул к ним своими губами.

В этот момент дверь с шумом раскрылась и вбежавший с перепуганным лицом юноша воскликнул:

— Господа, произошел ужасный случай, слушайте.

Он высоко поднял руку, как бы заявляя этим жестом о важности сообщаемого им события и, когда студенты, в ожидании чего-то необыкновенного, уставили на него свои взоры, он с выражением испуга, громко сказал:

— Наш таинственный доктор, который вчера нас так заинтересовал своими оригинальными взглядами на жизнь, в настоящее время сидит в своем кресле мертвым.

После короткого молчания послышались с разных сторон всевозможные восклицания ужаса и недоверия, а Бриллиант сказал:

— Ты говоришь — доктор Кандинский умер. Согласись, тебе просто это приснилось, любезный друг. Я его видел не более как часа два назад.

— Я не знаю, найдется ли идиот, который в подобного рода вещах найдет уместным шутить. Повторяю, Кандин-

ский сидит теперь в своем кресле мертвым. Пойдемте, господа.

Он направился к двери и вся толпа студентов последовала за ним. Они прошли бесконечный коридор, поднялись на несколько ступеней кверху и остановились у широко раскрытых дверей большой комнаты. Вошедшие как бы замерли в чувстве бессознательного ужаса и какого-то пугливого любопытства.

Прямо против них, в ярком освещении двух стоящих на письменном столе ламп, рельефно выделялась сидящая в кресле фигура человека с изжелта-пепельным окаменелым лицом, с правой рукой, приподнятой с крошечным флаконом к раскрытому и судорожно сведенному в последней конвульсии рту, — с левой рукой, протянутой вдоль колен, в очечневших пальцах которой находилась кипа бумаг. Из-под черных полуопущенных бровей с необыкновенной грустью смотрели безжизненные светлые глаза. Мертвое, с красивыми чертами лицо окаймляли черные, начавшие серебриться сединой волосы и борода. Труп был одет изысканно прилично, в черный сюртук и белье безукоризненной белизны.

Долго все хранили молчание, находясь под впечатлением того невольного уважения, какое обыкновенно вызывается зрелищем неожиданной смерти.

— Ужасная картина, господа, — с нервной быстротой проговорила Лидия Ивановна, в страхе переводя плечами, точно в ощущении холода. — Самое ужасное — это то, что он сидит, как живой, и я никак не могу представить себе, что он мертв.

Бриллиант шепотом проговорил:

— Он умер мгновенно. Смотрите этот флакончик... Можно сказать наверное, что там остатки синильной кислоты. Это — яд, убивающий скорее, нежели выстрел в сердце. Вот почему, оставшись в своей прежней позе, он имеет такой вид, точно сейчас заговорит.

— А это, господа, что такое? Посмотрите, у него в руке очень толстая тетрадь.

С последней фразой девушка, поборов свой ужас, сделала несколько легких шагов и быстрым движением, на-

клонившись к труп, взглянула в тетрадь.

— Господа, вот удивительно — он завещает вам эти записки.

Толпа, побуждаемая чувством охватившего ее любопытства, двинулась к самоубийце и один из молодых людей прочитал: «Исповедь доктора Кандинского и история его преступлений и покаяния, завещаемая студентам-медикам».

Некоторое время все стояли молча с выражением изумления в лицах.

— Чего же мы, собственно боимся, господа? — сказала девушка, решительно делая шаг вперед. — Смотрите, он даже руку нам протянул, как бы говоря: «Не стесняйтесь».

Она дотронулась до тетради.

Труп слегка качнулся и она выпала.

Лидия Ивановна испуганно отскочила, лицо ее стало неподвижным и глаза с ужасом смотрели на страшного мертвеца.

Немного спустя вся компания студентов сидела вокруг круглого стола, с любопытством рассматривая бумаги. Один из студентов хотел было приступить к чтению, но Лидия Ивановна с резкой шутливостью его оборвала:

— Вы читаете, как дьячок. Читайте, Терибасов.

— Читайте вы сами, Лидия Ивановна, — возразил тот.

— Да-да!... — подхватили несколько голосов. — Пожалуйста, читайте вы...

Она не стала себя упрашивать и ровным и мелодичным голосом начала читать, время от времени с улыбкой посматривая на студентов, тонкими пальцами потягивая кончики косынки и передергивая худенькими плечиками.

II

«Мое существование кончается, я это чувствую, я вполне ясно понимаю полнейшую невозможность моего дальнейшего пребывания на земле. Я не знаю, как я покончу с собой, да это совершенно безразлично. Важно и даже, может быть, поучительно одно: брожение мыслей в уме моем

и болезнь моей души, вызвавшие невозможность дальнейшей жизни. Я — доктор медицины, и в моей ранней молодости наука не укрепила мой шатающийся юношеский ум, а наполнила его ядом отрицания: плоды науки часто бывают ядовиты и сок их губителен. Что со мной произошло, то, хотя и в миниатюре, происходит иногда и с другими, и потому повторяю: моя история поучительна. Вместе с духом всеотрицания я стал совершать, так сказать, мысленные преступления и делал это с тихой злобой и гордостью самой опасной, потому что она происходила от сознания превосходства моего ума. Проникая в глубины наук, я испытывал сладостное упоение и мой ум получал, так сказать, орлиные крылья, но чем больше было знаний, тем больше я отдалялся от нравственных законов добра и любви, тем больше проникался идеей безграничного зла на земле. Положит ли кто-нибудь на мою могилу хотя камень — не знаю, да мне и не надо ни камня, ни креста: моя жизнь не останется без следа, я сам воздвигну себе монумент — такой же зловеющий и холодный, как моя жизнь — *мои записки*. В них вы найдете своего рода анатомическое вскрытие, только не тела, а духа. Мы, медики, любим резать мертвецов и чувствуем себя польщенными, когда найдем в теле присутствие яда; мне представляется гораздо более почтенным делом вскрыть свою душу и обнаружить яд помыслов, отравляющих всю жизнь так же верно, как тело скрытый в желудке ядовитый паразит. Делая это страшное вскрытие, я хочу принести пользу людям, единственную, какую я могу сделать; при взгляде на меня всякий скажет: как был жалок и страшен этот несчастный доктор, и не захочет быть похожим на меня. В этом смысле, мои записки для некоторых будут зеркалом, в котором каждый сможет видеть отражение своего собственного преступного «я». Быть может, подумают, что мои мысли, бывшие для меня чашей, полной отравы, исключительно мои и несвойственны другим людям. Господа, прежде всего мы все скептики, стоящие на шатком мостике между злом и добром. В пользу добродетели мы часто говорим только для приличия или, вернее, по трусости; на самом деле мы, обыкновенно, мысленно переходим мостик,

отделяющий добро от зла и преступления, и на той стороне его часто чувствуем себя совершенно в своей стихии. Мы все, если хотите, преступники в помыслах, а перейти от идей к действиям — только маленький шаг, по крайней мере, для человека с характером решительным. Я полагаю, что в моей юности храм моей души был нисколько не менее возвышен, нежели у каждого из вас, и вся разница между нами только одна: при пылком воображении, я был немного решительнее вас, да, пожалуй, глубже и мучительнее чувствовал противоречие зла и добра на земле. Струны моей души звучали несколько посильнее, нежели у других — вот и все. При изящной внешности я, как уже сказал, имел пламенное воображение и душу холодную, закрытую для любви и приязни к людям. К себе подобным я всегда чувствовал некоторое презрение, и я не знаю, чем это объяснить: душа моя, если хотите, походила на роскошные, но холодные апартаменты с божеством, изображающимся коротеньким «я», где посторонним давалась маленькая аудиенция в несколько слов. Заметьте еще следующее: я был необыкновенно чувствителен ко всякого рода красоте: лица, форм, пластичности движений; внешнее уродство, старое лицо, толстота, раздутые животы, безобразные рты, носы — все это вызывало во мне отвращение, брезгливость к людям, переходящую в злость, и часто кончалось мысленным издевательством над человеком вообще. Я полагаю, что во мне странно совмещались поэт и медик, и против моей профессии резко протестовали во мне мои оскорбленные природные чувства. Для них не было пищи: я видел вокруг себя одну обнаженную, отталкивающую действительность и стал крайним прозаиком, гордящимся положительностью, реальностью своих мыслей и выводов. Я помню, что, предаваясь разным научным упражнениям, я любил, на основании физиологических и анатомических данных, делать заключения о вещественности всего созданного, об отсутствии души, бессмертия и пр.

Во всем этом нет ничего ужасного, тем менее указывающего на будущего утонченного злодея. Совсем наоборот: душа поэтическая и сильная, тонкий, анализирующий ум,

характер гибкий и твердый; прибавьте к этому знание людей и умение обращаться их в полезных для себя слуг — да, это все условия для образования удачника-карьериста. Не удивляйтесь, господа, если я прямо скажу, что все, что случилось со мной, случилось исключительно потому только, что я избрал самую роковую для меня профессию — медика. В ней, то есть в медицине, был яд для моего ума и, благодаря свойствам моей души, в моей профессии я черпал материал для оправдания моих преступных замыслов. Читая эти строки, вы подумаете, что я впадаю в абсурд, и не согласитесь со мной. Да, это непонятно для вас, но прочитайте исповедь моей души и вы увидите, как я безусловно прав, и поймете, что такому человеку, как я, дать власть лечить больных — значит вложить в его руки косу смерти.

Врачу, как и священнику, надо быть простым, как ребенок, иметь душу, отзывчивую к страданиям всякого человека; если же вы увидите на лице медика отражение внутреннего холода, скрытую иронию, услышите от него высокомерную велеречивость, безразличность к грязной нищете и обнаженным язвам больного, и наоборот — льстивую ласковость к человеку богатому — знайте: это не врач, а палач; бегите от него и не верьте его знанию; в лучшем случае — оно сомнительно, а когда врач рассыпает его безучастно, со скрытым зложелательством или тайной иронией, то как раз незаметно для себя станет убивать вас.

В течение пяти лет пребывания моего в университете все указанные свойства моего характера все более развивались. Я делался честолюбив, холоден, все более замыкался в себе, втайне все более гордился своими знаниями. Моим любимейшим занятием было анатомирование трупов, и делал я это с чувством неизъяснимой любознательности и одновременно с этим отвращением к мертвым телам. Человек, вообще, мне представлялся удивительно противным физически и ничтожным — духовно, что не мешало мне делать очень высокую оценку силе своего собственного ума. Под влиянием моих занятий, все люди моему воображению начали представляться просто голыми телами с накинутой одеждой на них: разгуливая по улицам Москвы, я

мысленно видел их на анатомических столах, и в душе злобно иронизировал, представляя себе их распухшие животы, нервы и мускулы. Человек мне представлялся просто машиной и ничего больше, а мир — лабораторией, где все живущее кончает свое существование под анатомическим ножом смерти.

Вот все, что я хотел сказать о себе. Это не предисловие, а скорее эпилог. Все, что следует далее, написано мной не теперь, а в годы моей молодости, слогом, в котором, кажется отразилась моя душа — холодная и гордая, и мой ум — иронизирующий, скептический и злой».

Лидия Ивановна, прочитав последнее слово, свесила тетрадь на колени и неподвижно уставила в пространство серьезные голубые глаза. Над бровями ее образовалась морщинка и обыкновенно бледное лицо светилось теперь каким-то внутренним светом.

После нескольких минут общего молчания студенты начали друг на друга вопросительно поглядывать. Бриллиант сказал:

— Господа, эта история — весьма мрачная исповедь, заблудшейся в лабиринте скептицизма и полужнаний докторской души. Все-таки, я полагаю, что он прав: многие из нас чуточку походят на него, и жребий Кандинского не так исключителен, как кажется.

На эти слова последовали шумные возражения. Волновались больше всего именно те, которые чувствовали свое сходство с автором записок.

— Покорно благодарю — я вовсе не намерен себя причислять к каким-то уродам. Если есть такие медики, то очень жаль; но, во всяком случае, это не более как нравственная извращенность, обобщать которую смешно и дико.

Проговорив все это громко и резко, с волнением в го-

лосе, Куницын пристально посмотрел на Лидию Ивановну и добавил:

— Он врёт — от слова до слова.

— Кто — мертвец?!.. Ну нет, не думаю. Извини, любезный друг — ты что-то странен сегодня, — сказал Бриллиант.

К бледным щекам Куницына прихлынула яркая кровь. Его волнение было настолько сильно, что все это заметили и начали смотреть на него удивленно. Между тем, Куницын, волнуясь, но все-таки с некоторым фатовством и искусственным смехом, наклонился к девушке и спросил:

— Лидия, я вам скажу причину своего волнения — я хочу сделаться медицинской... звездой... знаменитостью...

Девушка медленно поднялась и, глядя с необыкновенной серьезностью в лицо своего жениха, сказала:

— Володя!.. да что же это значит!.. Звезда, знаменитость! Фу ты, Господи, как странно!.. Да почему же именно вы должны воссиять?.. Признаюсь, я не вижу для такой надежды никаких данных.

Она рассмеялась и продолжала:

— Но вот что, голубчик Володя, удивительно: я сама почему-то думала о вас, когда читала эти записки, и знаете ли, что именно...

— Договаривайте, не стесняйтесь, Лидия, что вы думаете — ну-с...

— Вы слишком самолюбивы, эгоистичны и холодны к людям. Куницын, вы будете плохим врачом... Вам противен вид больных... Помните, как вы раз плевали, выйдя от чахоточного в клинике... Я до очевидности ясно понимаю — вы, как и этот несчастный самоубийца, будете с отвращением смотреть на больного бедняка и убежите от него в богатые палаты...

Она неожиданно остановилась: взволнованное лицо юноши стало бледным и на минуту приняло злое выражение. Девушка долго смотрела на него и вдруг рассмеялась своим тихим протяжным смехом.

— Куницын, бедненький мой... Не верьте мне... ведь я такая болтуня и притом так часто ошибаюсь.

— На этот раз наверное ошибаетесь и очень грубо, — воз-

разил он резко, — но я прошу вас ответить: на основании каких это аргументов вы составили такое мнение обо мне?

Она вдруг сделалась серьезной.

— Я вам отвечаю, но не теперь... после прочтения этих записок. Володя, ведь вы против этого ничего не можете иметь? Я надеюсь, мы сегодня не будем спать, господа. Слушайте.

Все затихли и Лидия начала читать.

III

«По выходе из университета я начал практиковать в Москве, где, впрочем, особенными успехами никогда не пользовался. Так прошло несколько лет, пока неудачи окончательно не надоели мне и я уехал на Кавказ. Здесь, в Тифлисе, в короткое время я завоевал репутацию прекрасного медика. Говорили, что я обладаю особенным даром возвращать румянец юности даже бледным щекам безнадежно больных. Слушая это, я внутренне улыбался, так как к жизни и к смерти своих пациентов я совершенно равнодушен и чувствовал себя очень довольным сознанием своего олимпийского бесстрастия. Я полагаю, что полная холодность души и пылкость мыслей — свойство недюжинных личностей. Разверните историю и вы убедитесь, что я прав. Каким ледяным равнодушием к смерти или жизни людей надо обладать какому-нибудь Юлию Цезарю, чтобы по трупам совершить шествие от Рима по всей Западной Европе — в Британию? Чтобы возвеличить свое маленькое «я», иногда необходимо бывает перейти через целые горы трупов и к такой решительности бывают способны только привилегированные смертные: удел обыкновенных смертных — вечные волнения, укоры совести и вообще смятение духа: все это принадлежности маленьких, будничных, мизерных людей».

Такие мысли очень льстят моему самолюбию и я не волнуюсь: выздоровеет ли мой пациент или же отправится в

лучший мир — для меня, собственно, безразлично; я рассуждаю так: положим, какой-нибудь Карпов умер, — что ж, очень возможно, что это тем скорее даст возможность устроить свои дела какому-нибудь Чертополохову, а если Карпов был богат и скуп, то, быть может, его смерть облегчит бремя жизни десятерым Потапам с их женами и детьми. Вообще, чувствительность качество весьма сомнительное и свойственно исключительно близоруким смертным. В природе ничего подобного не замечается; я стараюсь брать пример с нее, и это мне представляется тем более уместным, что ведь она наша общая мать, а она безжалостна: окрасив землю кровью и трупами, зажигает солнце — веселое и радостно смеющееся, точно на земле вечное ликование. Я подражаю природе, мудрость которой торжественно признается даже философией, и потому я холоден и жесток, и стараюсь развить в себе эти чувства; я с ледяным спокойствием делаю мучительнейшие операции, и иногда чувствую легкое удовольствие, видя, как моя жертва изгибается под ножом. Равнодушный к больным, я в тоже время очень дорожу репутацией хорошего медика, и вообще внутренне горжусь своими знаниями. Несмотря на это, бывают моменты, когда я совершенно ясно ощущаю в себе нечто мефистофельское, да это и понятно: мне часто по необходимости приходится являться в роли надувателя публики: ведь медицина ненадежная путеводительница по земле, и тех, кто ей доверяется, иногда заводит совсем не в желательные места — гробам.

Желая правдиво очертить свой внутренний облик, не считаю себя вправе умолчать и об одной своей маленькой слабости: хотя я и медик, но очень люблю находиться в кругу милых тифлисских дам. Они в восторге от моей внешности, любезности и от моих медицинских познаний. Надо откровенно сознаться в истине: под черным фраком ученого медика во мне скрывается маленький Дон-Жуан. Что ж, господа, во мне, под моей холодной наружностью, таится большая жажда жизни, я молод, по общему мнению — красив и,

кажется, не лишен умения действовать на женские сердца. Моя практика в кругу дам все более увеличивается, и я положительно вхожу в моду. Говорят, что моя внешность вызывает впечатление чего-то таинственного и действует чарующе. Я знаю, что во всем этом скрывается преувеличение, но я всегда выслушиваю эти милые вещи с самым серьезным видом. Впрочем, что ж, в общем я, во всяком случае, очень недурен, и вот вам мой портрет.

Я человек выше среднего роста, очень стройный, движения мои грациозны, но в них выражается сдержанность, умение подчинять свои чувства требованию данной минуты. Мое лицо — совершенно правильного очертания — окружено черными выющимися волосами и маленькой черной бородкой, и отличается интересным бледно-матовым цветом. Оно всегда невозмутимо-спокойно и как бы отражает царящий в моей душе холод, а тонкие, энергически сжатые губы, в чуть заметных своих движениях, обнаруживают присущий мне яд. Глаза мои, холодно смотрящие из-под черных бровей, скромного серого цвета, но с отблеском искрящейся стали. Я знаю, что многие не выдерживают их пристально устремленного взора.

В Тифлисе у меня уютная квартира, откуда открывается чудесный вид на расположенный внизу город и на хребты синеющих гор. Внизу, в скалистых берегах, вьется река, яростно несущая с гор свои мутные воды. Дома идут уступами, один над другим, и только в самой глубине видна длинная широкая улица, над домами которой зеленеют и шумят вершины пирамидальных тополей. В общем, все это довольно красиво. Я часто, с высоты своего балкона, с удовольствием озираюсь вокруг себя и мне иногда кажется, что человеку можно бы быть добрым, если б не сознание, что ведь этот голубой купол, сверкающий переливами лучей, раскинут над огромной ареной убийств, крови и слез. Страдание и смерть — закон жизни, и потому умиляться прелестью бытия и раем, веющим с небес, совершенно напрасная сентиментальность. Такие мысли заставляют меня при созерцании красот природы только иронически улыбаться, и я снова чувствую себя холодным, жестоким, бес-

пощадным.

В моей квартире четыре комнаты: приемная, гостиная, спальня и кабинет, из которых последний — мой любимый уголок. Вдоль красных его стен, под стеклянными колпаками, расставлены интересные предметы моей специальности: восковые модели сердца, легких, печени, головного мозга — частицы того механизма, который, находясь в движении, называется жизнью, с ее слезами и радостями, порывами к небесам — до полной приостановки маятника — состояния, называемого смертью. Я люблю противоположности, и потому между всеми этими вещами расставлены мирты, магнолии, олеандры, которые пахнут и рдеют цветами. На противоположной стороне — два скелета и над их белыми черепами густо спускаются распутившиеся яркие розы. Как видите, жизнь и поэзия у меня перемешаны с прозой и смертью. Посредине комнаты — письменный стол с разбросанными на нем орудиями пыток, то есть операций. Я посматриваю на все это не без улыбки.

В приемной я принимаю неинтересных больных, ничего не приносящих мне, кроме развлечения их резать. В гостиной у меня бывают больные, из которых каждый представляет для меня род маленькой ходячей Калифорнии: ведь мы, спасители страждущего человечества, иногда маленьким ланцетиком извлекаем из порченных внутренностей больного больше золота, нежели рудокоп большой лопатой из недр земли. В своем кабинете я принимаю лиц, воображение которых почему-либо мне надо поразить. Разумеется, это бывают по преимуществу дамы, дамы хорошенькие, неглупые и непременно с живой фантазией: я давно убедился, что невпечатлительные женщины, а тем более глупые, ничего интересного во мне не видят, и я совершенно бессилен с ними.

Я внимательно анализирую характер моих пациенток и обращаюсь с ними сообразно моему мнению о них. По отношению к некоторым я принимаю вид таинственный и холодный — настоящего жреца Эскулапа, и свои фразы как бы нечаянно перемешиваю с латинскими изречениями, которые, говоря откровенно, я иногда не понимаю и сам. Такой

прием обыкновенно имеет успех: пораженные моей таинственной непроницаемостью, они силятся разгадать живую загадку и незаметно для себя увлекаются настолько, что я начинаю властвовать над ними. Меня увлекает эта игра.

Как видите, я взял на себя двойную роль — медика и Дон-Жуана. Такое сочетание, кажется, довольно редкое явление в жизни, и напрасно: оно вызывает чувство загадочной таинственности и обещает успех. В этой истине я убедился вполне, и в лучшие минуты жизни умею говорить, подобно Фаусту: «Время, стой». Оно все-таки безвозвратно уходит, унося с собой и прелестных волшебниц моего кратковременного счастья. Я знаю, что они бывали счастливы, когда думали, что в своих пылких объятиях отогревали оледеневшего на далеком Севере таинственного и печального медика.

IV

Утро было чудное, когда я, сидя в коляске, мчался на паре лошадей в имение пригласившего меня князя. Предомной с разных сторон возвышались горы — серые, бурые, желтоватые, — сверкающие переливами разнообразных цветов и по скатам зеленеющие коврами молодой травы. Ручейки, спадающие с вершин по склонам, казались серебряными лентами. Золотые лучи только что показавшегося солнца потянулись по долинам и горам, играя на вершине отдаленной горы розовым переливающимся сиянием. Удивительно свежий воздух дул мне в лицо. Я озираясь вокруг и мысленно повторял: «Недурно». «Волшебная природа», «божественная» и другие в этом роде эпитеты совершенно исключались мной из лексикона моих слов: внутренне я гордился холодной положительностью своих мыслей, уверенностью, что мир не более как простое физическое тело и все в природе совершается по совсем простым законам, точно так же, как в нашем теле — движение крови, и если он, то есть мир, поэтически сияет иногда молнией и обвиняется лентами золотых лучей, то ведь и из очей хорошенькой жен-

щины исходят иногда тоже молнии в миниатюре: это не мешает ей при случае очутиться у меня на анатомическом столе, и конец поэзии. Такие мысли делали меня гордым и охладили мой ум.

Дорога поднималась все выше, воздух становился все более разжиженным и, наконец, предо мной открылась ровная площадь, усаженная по сторонам огромными деревьями и кончавшаяся в глубине полукружием гигантской горы с плоской вершиной. В голубом воздухе рельефно выделялись растущие там деревья, точно часовые в зеленой чалме, охраняющие вход в царство вечного Эдема. По почти отвесным скатам горы зеленелась яркая трава, как зеленая мантия, брошенная на плечи великана. Внизу серебристой лентой огибалась река, в яростном беге своем перекатываясь через огромные камни и рассыпаясь вверху брызгами.

Коляска неожиданно остановилась около огромного белого дома, почти совершенно скрытого широкой зеленью высоких чинар. На ступеньках крыльца я увидел низенького широкоплечего старика — чистокровного грузина; на его круглом лице резко отпечатлелась национальность: нос с горбиной, очень большие, прозрачно-ясные круглые глаза, в выражении которых было что-то дикое, широкие дугообразные брови. Лицо это было испещрено морщинами и окаймлялось седыми баками. Не забывая своей роли врача, я выскочил из коляски, как человек, спешивший бросить якорь спасения погибающим, и направился к крыльцу.

— Кажется, доктор Кандинский, если не ошибаюсь, — проговорил старик и быстро пошел вперед с протянутой рукой, причем морщины на его лице пришли в движение, кончик орлиного носа наклонился вниз и бледно-синие губы растянулись в длинную приветливую улыбку.

— Очень рад, очень рад, — я князь Челидзе, Евстафий Кириллович.

— Доктор Георгий Константинович Кандинский.

Он пристально начал всматриваться в меня и вдруг как-то простодушно-лукаво рассмеялся.

— Да вы совершенно молодой человек. Я этого не ожи-

дал, мой милый доктор. Знаете ли, вы популярны у нас в Тифлисе, как ни один жрец Эскулапа и, соображаясь с вашей известностью, я все-таки полагал, что вы человек пожилой, но вы совсем молодой, черт побери, и при этом дьявольски красивы.

Я холодно прервал его, заявив, что я приехал в такую даль лечить, а не болтать.

— Лечите, Бога ради, лечите, доктор, у меня много для вас работы, только помогите. Вы не знаете, мой дом — больница безнадежно больных. Это не дом — ад... то есть для меня, по крайней мере... сам по себе дом прекрасный. Пожалуйста вот сюда, доктор, я вам покажу кое-что.

Мы пошли между высокими деревьями аллеи.

— Я всю жизнь вожусь с докторами и хорошо их изучил, это по большей части... мошенники.

Старик остановился, пристально взглянул на меня и рассмеялся каким-то глуповатым смехом. Я придал своему лицу холодный и обиженный вид.

— Бога ради, не сердитесь на меня, доктор. Мой порок — откровенность и иногда я хватаю через край, хотя, в сущности, ругая врачей, я только отдаю им должное.

Я холодно и строго слушал все это.

— Не знаю, князь, кажется, медик совершенно лишнее лицо в вашем доме.

— Бога ради, не сердитесь доктор. Мой дом — печальный приют больных, и я пригласил вас.... но медицина все-таки не наука, это черт знает что... Вы хотите, конечно, сказать: зачем я вас приглашаю, если имею такое мнение о вашей профессии? Вы меня легко поймете, если вникнете в мое положение. О, оно отчаянное, потому что жизнь моего сына и моей дочери на волоске и где искать спасения, не знаю. Вы скажете, что помимо докторов есть еще Врач Бессмертный в небе. Очень может быть. Дайте мне Его адрес, я — пойду.

Он посмотрел на меня и рассмеялся смехом юродивого.

— Нет, я Его не знаю, не видел... Может быть, Он и там, но в какую дверь стучаться, этого мне никто не объяснил. Вы понимаете — надеяться приходится на то, во что не ве-

ришь. Я двадцать лет приглашаю докторов и двадцать лет их ругаю и, сознаюсь, не люблю я их; доктор и ворон — одно и то же... Один входит в дверь, то есть врач, другой садится на крышу — ворон: оба каркают. За ними тянется поп, гробовщик выступает последним. Так всегда у меня было... Посмотрите сюда, посмотрите.

Он остановился и к удивлению моему, я увидел, что очутился посреди могил, над которыми возвышались высокие мраморные памятники. Я с удивлением посмотрел на старика, решительно не понимая, зачем он меня сюда привел.

— Здесь я похоронил своих двух дочерей, здесь покоится моя старушка. Негодяи, они не могли вылечить — решительно ни одной. Нелли, Нелли! Ты не слышишь меня, крошка Нелли!

Он склонился к мраморной плите и из глаз его брызнули слезы. Имя «Нелли» он произносил певучим, дрожащим голосом и в груди его точно что-то клокотало.

— Доктор, если вы не можете спасти моих двух детей — оставьте меня.

— Детей ваших, — каких — мертвых?!

Во мне мелькнула мысль, что предо мной просто помешанный, но он поднял голову, посмотрел на меня и вдруг захохотал.

— Помилуй вас Бог, доктор; вы, кажется, принимаете меня за сумасшедшего. В живых еще остались сын и дочь. Ужасно! И не то ужасно, что эти умерли, а те больны — а то, что причина всему этому — я. Доктор, в моем лице вы видите последнего представителя князей Гелидзе, разбросавшего в Петербурге все свои миллионы, как тряпки. Но о них я не жалею: у меня и теперь земли столько разбросано по разным местам, что я никогда не мог добиться от моего управляющего, сколько у меня тысяч десятин... На деньги я плюю с легкой душой... Но, доктор, петербургские оргии сильно потрепали меня, в моих костях — яд, в моем мозгу — яд: я — негодай. Мои дети — порождение греха и болезней. Негодай ты, князь Евстафий Кириллович — негодай!...

При этом обращении к самому себе он приподнял палку и довольно сильно ударил себя по голове.

— Тридцать лет я в аду. Ад во мне, ад в моем доме. Я — развратник, и адский огонек, разлитый в моей крови, никогда не потухает, даже теперь, в шестьдесят шесть лет — вот какое я животное. Теперь вы знаете, с кем имеете дело и почему больны мои дети. Пойдемте, я вам их покажу.

Он поднялся с камня и, с опущенной на грудь головой, опираясь на палку, быстро и не говоря больше ни слова направился по длинной аллее к дому. Очень довольный, что он замолчал наконец, я начал взвешивать сообщенные им сведения и комбинировать их.

Сознаюсь откровенно — богатство этого человека, его обширные поля, доверчивость его характера и, наконец, болезнь его детей — все это воспламенило мое воображение, поселило в моей душе какие-то смутные надежды. Людские недуги — наша жатва, и если верить в добродетель, то это само по себе очень печально: мы по необходимости являемся какими-то воронами, питающимися мертвечиной, но усилить, продлить болезнь часто означает получить процент на процент... Как видите, я выражаюсь весьма банально и, быть может, какой-нибудь мой коллега с отвращением отвернется, прочитав эти строки. Но вы, господа медики, можете ли сказать, положив руку на сердце, что вам никогда не приходили в голову такие соображения, а если и приходили, то вы всегда были очень далеки от малейшего соблазна? Я знаю, что на такой вопрос большинство из вас не может с полной правдивостью ответить: нет. Ваше колебание — результат шатающейся совести и отсутствия смелости ума, ну а я последовательнее и смелее вас. Только в этом и вся разница между нами. Нравственное чувство здесь, как видите, ни при чем; но я иду дальше, я полагаю, что милую мораль добра человек неглупый может совершенно упразднить при современном нашем безверии и знаниях. Мои воззрения могут показаться неприятной крайностью. Что делать? Так уже устроен мой несчастный ум: идти по пути логики, хотя бы эта дорога вела в пропасть, и потому послушайте.

Мы все более или менее атеисты и, разрушив идею Бога на небе, на земле мы воссоздали трон для нового бо-

жества — холодного человеческого ума. К сожалению, наши знания делают вовсе неутешительные открытия: пустота в небесах, несуществование за могилой, разложение организмов и с этим конец нашего «я». Тела гниют и из праха, положим, Спинозы или Дж. Стюарта Милля вырастет какая-нибудь чайная роза — утешение сомнительное, и все-таки интеллигенты иногда с гордостью говорят, что мы вечно будем существовать в указанном смысле. Скажите на милость, кой черт мне такое утешение — надежда, что из моего праха вырастет какая-нибудь там лилия. Мне важно одно: вечное существование моего «я», а наш ум положительно приводит к выводу, что наше «я» перестает существовать вместе с последним ударом пульса. Этот вывод не может не отражаться на всем моем поведении в течение жизни, потому что, согласитесь сами — ведь добро, любовь, красота души и все прочее в этом роде могут претендовать на признание серьезности только при условии веры в бессмертие нашего «я»; уверенность, что мы превращаемся в ничто, в сор и прах, делает жизнь в моих глазах пустой забавой, лишенной всякого смысла, и с этим вместе любовь, добро и прочее являются совершенными пустяками. Не все ли равно, как разыграть этот коротенький фарс, называемый жизнью — носясь на крыльях самых высоких идеалов или утопая в тине грубой чувственности — ведь могильный червь одинаково уничтожит без остатка и следа как возвышенного мученика любви, так и самого последнего из смертных. Как вам угодно, а всякие прекрасные чувства понятны только при условии веры в бессмертие, иначе они, по меньшей мере, бесцельны и порождают невольный вопрос: зачем они? Апостолы любви оставляли и для себя кое-что, а именно уверенность в свободный пропуск в надзвездные чертоги; но для меня, человека начала двадцатого века, вера — ничто, загробная жизнь — цветы воображения, жизнь по необходимости является лишенной прежнего одухотворяющего ее смысла, и потому всякие прекрасные чувства наши — не более как цветы нашей фантазии. Этот мир — царство неумолимых законов природы — рождения, смерти и жизни, и они ни добры, ни злы. Я хочу быть холод-

ным и безразличным к добру и злу и людским страданиям, как она. Вас это ужасает, меня, наоборот — привлекает и дразнит мой ум.

Я долго шел рядом с князем, с удовольствием посматривая на его сад. И идея, явившаяся в моей голове, облеклась все в более соблазнительные краски.

Стройно возносящиеся к прозрачной синеве вершины тополей, чинар и лип образовывали целые зеленые шатры. Аллеи шли в разных направлениях бесконечными зелеными коридорами. Местами открывались маленькие озера голубоватой прозрачной воды с плавно скользящими по ней парами белоснежных лебедей, которые, высоко выставив свои горделивые шеи, скользили по воде в невозмутимом покое. Кое-где возносились беседки из вьющихся виноградных лоз и плюща, в форме высоких конусов. Местность пересекалась глубокими, отвесными провалами с виднеющимися внизу куполами деревьев, под которыми серебрились вечно журчащие ручейки.

Мы подходили к дому. Старик продолжал идти с опущенной головой. Не прерывая молчания, я стал всходить за ним по широкой лестнице из красноватого мрамора и очутился в огромной зале. Это была в полном смысле грандиозная комната, но такая мрачная и ветхая, что я с удивлением стал озираться. Она была очень высокая, узкая и длинная, обитая малиновым бархатом, который от ветхости местами висел клочьями. Яркий свет, врываясь в высокие окна, бросал светлые полосы на портреты грузинских царей. Это была целая галерея усопших властелинов Грузии, лица которых, казалось, выходили из рам и смотрели с необыкновенной мрачностью своими большими черными глазами. Царица Тамара в царском золотом одеянии, с короной на голове стояла, вытянувшись во весь рост и отражая в своем лице сияние небесной красоты и земной греховности и тления. Против портретов, на противоположной стороне, висели длинные старинные ружья, забрала, щиты — все покрытое ржавчиной. С потолка спускалась огромная люстра — черная от старости. Вообще, глядя всю эту картину богатства и разрушения, невольно казалось, что из дыр,

виднеющихся в паркете пола, выходят по ночам целые армии крыс и безостановочно подтачивают бархат, позолоченные кресла и полотно портретов владык Кавказа.

Мы шли вдоль стены, где висело оружие, и остановились зала, около маленькой дубовой двери. Отворяя ее, князь взглянул на меня почему-то очень пристально и, не сказав ни слова, пропустил в небольшую, увешанную коврами комнату.

V

На кровати, закрытое ярким одеялом, лежало какое-то длинное, исхудалое существо, черная бородка которого показывала, что оно было мужчиной. При моем появлении существо это тревожно заворочалось и, вытянув тонкую шею, уставило на меня два, окруженные синими впадинами, глаза; его большая голова с всклокоченными черными волосами затряслась при этом, точно оторванная, и по исхудалому лицу прошли конвульсии не то смеха, не то рыдания. При одном взгляде на этого человека, я сейчас понял, что жизненный водевиль его можно считать оконченным и что мне, для большей благопристойности, остается только по всем правилам науки препроводить его в иной мир.

Тут же, около больного, сидела в кресле старуха-грузинка. Белые, как снег, волосы окружали ее сморщенное, с глубоко ввалившимися глазами лицо. Она производила впечатление мумии, и только одно движение беззубого рта, вокруг которого торчали белые волосы, показывало, что она жива.

Я приблизился к больному, а князь сказал:

— Посмотрите, Бога ради, это мой сын.

— Давно он в таком положении?

— О, очень давно... Прошло уже лет восемь.

— Восемь лет — гм!..

Мои взоры в эту минуту упали на стеклянный шкаф, буквально сверху донизу уставленный всевозможными склянками с желтыми и белыми сигнатурками. Подошедши к шка-

фу и придав своему лицу серьезный и глубокомысленный вид, я начал прочитывать сигнатурки, нарочно время от времени испуская легкие восклицания, которые одновременно должны были выражать мое удивление и негодование, вызываемое невежеством врачей. Конечно, это означало только то, что я начинал входить в свою роль медика и политика одновременно. Я никогда не забывал, что для того, чтобы приобрести громкую популярность, необходимо держать себя так, как актер на сцене после поднятия занавеса, впрочем, с маленьким добавлением: медик должен и играть, и импровизировать в одно время. Гонорар обыкновенно бывает пропорционален силе этих талантов.

Прошло минут двадцать, в течение которых до моего слуха доносились отрывистые фразы больного и его отца. Последний сидел, нежно склонившись к нему.

— Голубчик, ну как ты?.. Может быть, тебе и лучше?

Больной заговорил, но я разобрал только отрывки из его фраз:

— Скучно мне... хоть бы... подохнуть, так скучно... Прикажи, чтобы пришла... эта... Прикажи ей прийти.

— Нельзя, голубчик... Я тебе говорил — нельзя... Женщины не для нас с тобой, мой мальчик... Не повторяй этого больше.

— Скверный ты отец... собака... Мама сошла в гроб... дала место этой... Красавица твоя — Тамара... Ты лакомишься, лакомишься... старая собака...

В голосе больного послышалось злобное рыдание, похожее на рычание связанного зверя. Отец казался совершенно сконфуженным и безмолвствовал.

Немного спустя сын снова заговорил.

— Папа, папа!..

— Что, голубчик, что?

— Купи мне... лошадь...

— Хорошо, миленький, хорошо.

— Черную лошадь... Доктор вылечит — полечу в горы... к осетинам... Как хорошо среди простора гор... Дышать, дышать, скакать... Счастливые люди... какие все счастливые... Я один лежу — гнию... Жду последнего поцелуя... смерти...

Конвульсии пробежали по лицу больного и он зарыдал, а старик, с видом отчаяния подняв руки над головой и уподобившись Моисею, взывающему на Синае к небесам, громко возопил:

— Гибнет — гибнет дом князя Челидзе. Подгнивают последние ветви гордого дерева Грузии. Я — ствол, в котором испорчены соки и на котором было много ветвей... Но опадают иссохшие ветви, осыпаются пожелтевшие листья... Дерево рухнет, наконец, с великим шумом.

Все это старик проговорил с видом трагическим и величавым, но я полагаю, что он был большим комедиантом: окончив свою речь, он вдруг обратился ко мне и, видимо, внутренне смеясь, с выражением шутовства проговорил, указывая на больного:

— Доктор, надеюсь, что вы поддержите эту надламывающуюся ветвь великого дерева.

Я сделал вид, что не заметил иронии, и с самым серьезным видом медика, углубившегося в свою мысль, проговорил:

— Скажите на милость, ужели больной проглотил все это невероятное количество ядов в несколько лет?

— Да, — ответил он злобно.

— Очень жаль. Вы слишком часто переменяли докторов и это всегда оказывает самое пагубное действие на больного. Лучше один посредственный врач, нежели выступающие один за другим десятки хороших — заметьте себе это (я выступал в роли политика, и ничего больше). Каждое из этих лекарств в отдельности есть довольно сильный яд — сулема, ртуть, каломель, морфий — а все вместе представляет поистине адское снадобье, могущее свалить даже верблюда.

Старик желчно рассмеялся и совершенно озлился.

— Черт побери!.. Каждый из вас выглядит точно Спаситель, низшедший с небес, каждый расхваливает свое пойло... в конце концов, сами обвиняют друг друга в отравлении. Побойтесь Бога — да эти доктора хуже разбойников... Татарин-убийца в наших горах, по крайней мере, не драпируясь вашей мантией спасителя, — прямо кинжал в горло... Кто по-

ступает благороднее, я вам скажу — разбойник...

Он желчно рассмеялся.

— Успокойтесь, — сказал я с невозмутимым хладнокровием. Надеюсь, — вы настолько умны, что сумеете, по крайней мере, оценить мое прямоту: может быть, я единственный медик, решающийся высказывать горькую истину без обиняков....

— Это истинная правда: ведь вы человек порядочный. Господин Кандинский, простите меня, даю слово — вы будете моим последним доктором — и единственным, подобно тому, как вы единственный врач — честный. Послушайте, однако же, честным людям в наше время жить нельзя, подлецам лучше — они в фаворе теперь.

Я спокойно выслушал всю эту тираду, и когда он умолкнул, сделал следующее: вытянувшись во весь рост, я поднял руку кверху и с видом апостола, поднимающего мертвого с ложа смерти, тоном, полным уверенности, проговорил:

— Ваш сын будет здоров.

Эффект получился чрезвычайный.

Князь уставил на меня свои круглые глаза, совершенно пораженный, а больной замотал головой и по его лицу прошли конвульсии радостного смеха.

На этом, однако же, остановиться было нельзя и я позаботился с помощью разных *но* сделать свое обещание эластичным, как каучук, и допускающим самые разнообразные толкования. Оракул в Дельфах изъяснялся с такой же двусмысленностью, и это не мешало ему пользоваться полным доверием сограждан.

— Да, он будет здоров, но это в том случае, если вы буквально будете руководствоваться моими предписаниями. Кроме того, вам следует знать, что мне предстоит борьба с двумя врагами: с ядами, которые принимал ваш сын, и с его недугом в собственном смысле...

Я подошел к больному и, с видом глубокого внимания, начал осматривать его, поднимать его руки, ноги — и мне было невыразимо противно на него смотреть, отвратительно было чувствовать его кислый гнилой запах, гадко было видеть его идиотский смех или плач — не знаю. Я начинал

ненавидеть его, как своего личного врага, который мучает, терзает меня, унижает мою гордость. В глубине моей души шевелилась холодная злость, но мое лицо, о, я это знаю, — было невозмутимо и холодно. Как видите, быть медиком адская работа, и особенно для человека с такой самолюбивой, гордой, холодной душой, как у меня.

Через некоторое время лакей-имеретин провел меня через несколько комнат в комнату моего пациента женского пола. Дверь раскрылась, и я остановился у порога.

Это была небольшая продолговатая комната, выкрашенная в небесный цвет, с амурами на потолке. Голубые гардины, голубой полог над кроватью, трюмо, покрытое чем-то голубым, зеркало в голубой бархатной раме — все голубое. В глубине комнаты я увидел и обитательницу этого голубого царства — совершенно эфирную барышню — ей, видимо, оставалось только подняться и навсегда потонуть в своем любимом цвете — в голубом пространстве вечного эфира.

Она стояла в конце комнаты и на свои худенькие плечи своими нервно-дрожащими пальчиками силилась надеть что-то кисейное и воздушное, как она сама. Голова ее при этом свесилась набок и ее черные волосы падали целыми волнами на ее кисейное облачение. Я ее нашел довольно эффектной. Ее маленькое, бескровное и белое, как мрамор, лицо казалось озаренным бледным светом, так как ее большие черные глаза светились болезненно-ярко. Она смотрела прямо на меня с выражением наивного испуга, девичьей стыдливости и какой-то светлой радости. У нее был очень высокий, белый, как мрамор, лоб, классический нос, маленькие бледные губы, такие тоненькие, что походили на два сложенных лепестка белой розы. Надо добавить, что она вся нервно вздрагивала и головка ее наклонялась и отклонялась, точно белая лилия во время грозы.

— Нина, не волнуйся, мой ангел... Это твой новый доктор, лучший, какой только есть, в чем он не замедлит нас убедить...

Я быстро направился к девушке и, поклонившись ей, сжал ее маленькую дрожащую руку в своей руке. Наши гла-

за взаимно встретились и страшно сказать: глядя в ее глубокие, как море, глаза, устремленные на меня с восторгом, я сейчас же почувствовал, что мое влияние над нею может быть безграничным, если я только пожелаю этого. Не от мира сего, ее вид выразительно говорил о присутствии в этом хрупком теле души пламенной и нежной, для которой необходимы святые идеалы и беззаветная преданность. Бывают женщины, понять которых — значит победить.

Пристально глядя ей в глаза, я сказал чуть слышно, но тоном, заставляющим повиноваться:

— Постарайтесь быть спокойной и нисколько не волноваться.

К моему удовольствию, ее рука перестала дрожать в моей руке и она своими тоненькими бледными губами улыбнулась мне, показывая ряды мелких, белых зубов. Эта была улыбка застенчивая, нежная, доверчивая и полная какого-то тихого счастья.

Князь оставил нас одних.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я ей властно и вместе нежно и, оставив ее руку в своей по праву медика — привилегия, которой я немножечко злоупотреблял, — усадил ее на маленький голубой диванчик.

— Чем вы больны — скажите, пожалуйста.

— Я всегда была нервной... чрезвычайно... иногда меньше, иногда больше. В последнее время нервность усилилась. Вы сами все знаете... вы доктор.

Она говорила чрезвычайно кротким, нежным голоском.

— Вы здесь всегда жили в вашем имении?

— Нет, я жила три года в Петербурге... и... заболела.

Она стала порывисто, учащенно дышать, полураскрыв свои бескровные губки, как пойманная птичка.

— Вы кого-нибудь любили, вероятно, — тоном, полным уверенности, шепнул я ей на ухо, убежденный, что я не ошибаюсь.

Она отшатнулась от меня испуганно.

— Ах, Боже мой!.. Откуда вы это могли узнать?.. вы волшебник...

И она рассмеялась нервным конфузливym смехом.

— Как медик, я должен знать вашу душу, прежде чем восстановить ваши телесные силы. К счастью, ее знать трудно: она смотрит с глубины ваших черных глаз и к тому же изучать вас не только обязанность, но и приятное развлечение, потому что, признаюсь откровенно — вы интересное существо. Проза жизни, я полагаю, нисколько вас не коснулась: вы слишком высоко парили над миром на крыльях фантазии, с розами на голове.

Я говорил все это с легкой иронией в голосе и она, слушая меня, прелестно улыбалась, показывая между губами тонкую полоску белых зубов.

— Вы еще подумаете, пожалуй, что в качестве врача я пожелаю обрезать вам ваши крылышки и спустить вас на землю. У меня нет на это никакого желания. Таких, как вы, нет на земле и вы ее украшение и ее живая поэзия. Оставайтесь роскошным цветком посреди мира, его живой грезой, хотя и поэзия, и цветы, и грезы не более как невинный вздор; но умнее всех делает тот, кто, живя в этом мире, умеет видеть хорошие сны. Жизнь — область обманов и уныния: я был счастлив только во время своего отрочества, когда умел грезить, как теперь вы...

— Право!.. вы разочарованы, бедный доктор, как теперь я... — вскричала она, всплескивая худенькими ручками. Я продолжал ей говорить что-то все в этом роде и под конец, кажется, очень заинтересовал ее своей особой. Отсюда до любви — один шаг. Я видел, что она крайняя идеалистка, и потому дал ей взглянуть в зеркало, в котором все представлялось наоборот: земля небом и я, простой смертный — ангелом. Вы скажете, что я лгал, коварно рисовался и завлекал свою пациентку. Этого я отрицать не буду, но обыкновенный врач прописал бы ей бесполезное железо по медицинскому шаблону и обманул бы ее тоже по шаблону и более грубо, нежели я. Да, я лгал, но мой обман был врачующей ложью, и вот доказательства.

Слушая меня, моя больная все более расширяла свои черные, наивные глаза; ее сияющая восторгом маленькая голова подымалась все выше, точно она с каждым словом оживала, как цветок, согреваемый солнцем. Я понял ее бо-

лезнь. Представьте себе арфу, струны которой ослабевают, потому что по ней бьет грубая рука, но ее взял искусный музыкант — и инструмент заговорил, зазвенел усладительными звуками. Музыкант — я, арфа — больная, струны — нервы. Надо уметь играть на человеческой душе. Гамлет полагает, что это страшно трудно, и что на флейте играть несравненно легче. Не знаю, я не играю на флейте, но на нервах дам с известным темпераментом разыгрываю иногда довольно удачно. Если бы Офелия была поумней, то она сумела бы перестроить все струны Гамлетовской души на совершенно иной лад, и душа эта перестала бы издавать такие потрясающие бурные звуки, одинаково интересные как на сцене, так и в психиатрической клинике.

На стене висел портрет какого-то гусарика, облаченного в голубое. Увидев его, я, наконец понял пристрастие бедной княжны к этому цвету и с деликатной насмешливостью сказал:

— Милая княжна, я догадываюсь, кто этот прекрасный юноша: цвет его костюма совершенно достаточно объясняет ваше святое чувство к нему, так как он предполагает чистоту и невинность небес и натурально, если вы надеялись найти в этом господине сладкие отзвуки рая.

— Доктор, вы смеетесь надо мной — слабеньким созданием.

— Простите, и позвольте мне откровенно сказать о нем несколько слов. Стоит только взглянуть в это шаровидное лицо с узким лбом, чтобы понять, что он не стоил вашего обожания. Я знаю, что вы объяснялись с ним не иначе, как языком ангела, но я уверен, что он слушал вас с улыбкой самодовольства и грубого фатовства: что можно ожидать от человека с таким лицом! Вы мученица вашего святого призвания — жажды беспредельного обожания, но пока вы найдете человека, достойного вас, горькие разочарования приведут вас к могиле. Вас понять может только человек, являющийся таким же блуждающим метеором в этой жизни, как вы, один из сотен тысяч.

Я умолкнул, предоставляя ей догадаться, что таким метеором являюсь я.

Она сидела, недвижно глядя вниз, и я только видел, как ее черные длинные ресницы чуть-чуть приподымались, и тогда ее взоры на мгновение встречались с моими. Когда я умолкнул, она, широко раскрыв глаза, начала смотреть на меня с выражением очарования и испуга и, страшно волнуясь, произнесла:

— Вы все знаете и читаете в моем сердце... Вы не доктор, вы — бог. Я так хранила тайну своей несчастной любви, но теперь она не тайна уже. Вы не осмеете меня — бедное, больное существо. Ведь вы добры, я знаю, так будьте же еще моим другом.

Вместо ответа я стал пожимать ее руки, и она посмотрела на меня, сияющая и радостная. В эту минуту вошел ее отец и, видя ее счастливое лицо, удивленно направился к ней. Я скромно удалился и, очутившись в мрачной зале князя, услышал восторженные слова моей больной: «О, папа, это не доктор, это — ангел, волшебник».

Я быстро пошел вдоль залы с улыбкой на губах. В голове моей создался план лечения моей больной: она, видимо, страдает из-за отсутствия идеалов в жизни; в моей особе она может найти реальное осуществление ее воздушных грез. Впрочем, будет и другое лекарство — железо. Конечно, этот минерал, как и все другие, не более как медицинское шарлатанство последнего слова науки, но появление его имеет резон: медики нашли в нем свой философский камень, так как железо в их руках легко превращается в монеты чистого золота.

Не зная, куда идти, я направился к большой стеклянной двери и очутился на длинном балконе, который тянулся вдоль всего фасада здания. Картина природы, открывшаяся предо мной, была необыкновенной и я, несмотря на холод моей души, стал озиаться с удовольствием.

Подо мной расстилалось целое море зеленеющих древесных куполов, по которым перебегали золотистые лучи заходящего солнца. Оно закатывалось за горой, разбрасывая по ее вершине пурпуровое зарево и перевивая огненными лучами маленькие сосны, казавшиеся висящими в голубом воздухе. В уровень с ними парили несколько орлов, широко рас-

ставив свои черные с серыми каймами крылья и уставив на землю свои неподвижные зрачки. В противоположной стороне расстиралось необозримое пространство, спускающееся уступами и обрывами все ниже в глубину, и за этим в бесконечной дали виднелись новые громады гор, среди которых несколько исполинов гордо уносились снежными вершинами за облака и сверкали в голубом воздухе гордые и недоступные, залитые пурпуром заката, точно розами. Все пространство до этих гор пестрело маленькими горками, озерами, оврагами, чередуясь с зияющими пропастями и провалами. Свет и тени, всевозможные формы и краски — все это, перемешиваясь, образовывало какой-то чарующий хаос, где недоставало только звуков небесных или чертей — в зависимости от того, как смотреть: воспевать все созданное или проклинать его.

Я стоял, очарованный, и должен сознаться, было мгновение, когда во мне шевельнулось желание добра и тихой мирной любви. Что ж это доказывает? Необыкновенную сложности машины, называемой «человеком» — вот и все. Нервы, эмоции, впечатления, но нет никаких цепочек, идущих от небес к нам, а только в таком случае святые настроения наши и могли бы иметь важность, как доказательство, что наша духовная родина — не земля, а небо. Нечего и говорить, что в конце концов мой ум охладил порывы сердца: так бывало всегда, и этим я внутренне гордился.

Я направился было снова к стеклянной двери, как вдруг остановился в изумлении: в конце коридора я увидел медленно ступающую ко мне даму такой величественной наружности, что, глядя на нее, я невольно подумал: призрак ли то или королева.

VI

Она шла, точно выплывая, беззвучной скользящей походкой, с гордо поднятой головой, производя чуть слышный шелест своим черным платьем, которое в талии пере-

хватывалось широким золотым поясом, что позволяло видеть гибкий тонкий стан. Она была очень высока и густые, черные, как воронье крыло, волосы, огибавшие ее матово-бледное лицо, придавали ее красоте и росту невиданное мной величие. Это была вполне южная красота, напоминающая римских матрон — гордая и холодная, хотя чувствовалось, что под внешним холодом скрывается пламень грешницы. Лицо ее напоминало мраморное изваяние — до такой степени оно было правильно, если не считать, впрочем, маленького недостатка: ее нос был со слишком высокой горбинкой у лба. Из-под ее черных бровей светились большие черные глаза, и мне показалось, что в выражении их было что-то изменнически-коварное; такое же выражение затаенной измены и чего-то таинственного можно было подметить в извилистых, красных, как кораллы, губах.

Приблизившись на несколько шагов во мне, она пристально уставила на меня свои глаза и прищурилась с презрением. Во мне шевельнулось задетое самолюбие, я сделал резкое движение, взбросил на глаза пенсне и начал на нее смотреть с самым убийственным равнодушием. Охотно сознаюсь — такая манера характеризует фата довольно пошлого пошиба, но я прибегаю ней только по отношению к богатым дамам, знающим свою силу и власть, и почти всегда прием этот достигает цели — женщина в данном случае перестает думать — кто она, желая разгадать — кто он.

Она прошла мимо, но потом повернулась, сделала быстрое движение рукой, и в один момент перед ее лицом распростерся черным полукругом веер, наподобие орлиного крыла. Я подумал, что должно быть, такой прием — один из видов кокетства грузинских княгинь и позволил себе маленькую дерзость: глядя в упор на нее, я насмешливо улыбнулся. Вдруг она остановилась, немного отстранила веер и, блеснув овалом своего лица, лукаво усмехнулась, сверкая своими белыми зубами, и сказала мелодическим и важным голосом;

— Кажется, наш новый доктор, если не ошибаюсь?

— Да, доктор Кандинский.

— О, о вас много говорят в городе и признаюсь, князь

Евстафий Кириллович ожидает от вас всяких чудес.

Я слегка наклонил голову.

— Но вы все-таки не маг и не волшебник, и не можете переступить границу возможного, чтобы восстановить здоровье моих бедных погибающих деток.

— Как это! — проговорил я изумленно. — В каком смысле прикажете понимать это слово: деток?

— В буквальном, — отвечала она, слегка кивнув головой с чудной грацией, как-то лукаво рассмеялась и мигом над нижней частью своего лица распростерла свой черный веер: я понял, что на этот раз это было сделано с целью скрыть смех, выдающий ее. Теперь я видел только один ее античный, белый лоб, окруженный целой короной черных волос, и огромные черные глаза, которые мне показались еще больше, и глаза эти, зрачок которых был окружен золотистым ободком, придающим им блеск, чудно смеялись и, казалось, вели со мной немой разговор, противоположный тем словам, которые говорил ее лживый язык. Сохраняя наружное хладнокровие и даже насмешливость, внутренне, признаюсь, я стал испытывать волнение в сильной степени, чуждое моей натуре, как я полагал.

Она, между тем, говорила:

— Я ничего так не хочу, как видеть здоровыми больных детей моего доброго старого мужа, и тот врач, который совершил бы такое чудо, пользовался бы всегда моими горячими молитвами.

— Княгиня, но ведь вы, к счастью, очень ошибаетесь, — проговорил я, коварно задаваясь целью произвести над нею некоторый эксперимент. — Даю вам слово, что если и не излечу их совершенно, то отдалю всякую возможность печального исхода, по крайней мере, лет на двадцать пять.

Надо было видеть лицо княгини в эту минуту. Она до такой степени побледнела, точно ей внезапно нанесли удар кинжалом в самое сердце.

— Поверьте, княгиня, я говорю это с полной уверенностью, и могу вас поздравить со счастьем видеть всегда перед собой детей вашего достопочтенного мужа.

Медленно отчеканивая эти слова, я инквизиторски всмат-

ривался в ее лицо, в котором, как в раскрытой книге, я читал о ее нежных супружеских чувствах к мужу и его детям. Очевидно, она их ненавидела, и одна мысль, что они могут выздороветь, повергла ее в глухое отчаяние. Она стояла неподвижно, как статуя, с веером, распростертым над нижней частью ее лица. Я понял, что нас может связать только общая тайна, а так как она была прекрасна, как богиня, то мысль иметь с ней общность греховных замыслов мне показалась чрезвычайно увлекательной. Здесь я должен сделать коротенькое, но роковое признание. В моем воображении ярко промелькнул целый преступный план, нисколько не уступающий по своему коварству планам какого-нибудь Цезаря Борджиа. Врачи страждущего человечества, я на вас не клеветую, а заявляю только истину: в наших медицинских головах часто витают преступные мысли. Вы скажете, что они никогда не переходят в действие — не буду с вами спорить: ведь мертвецы в своих гробах лежат смирно и никогда об этом не болтают.

Я быстро подошел к княгине и, с решительным видом взяв ее за руку, тихо, но выразительно проговорил:

— Княгиня, лучше, если между нами не будет никаких тайн. Да и ваши старания провести роль добродетельной мачехи совершенно напрасны. Вы плохая актриса, милая княгиня.

— Что вы этим хотите сказать, господин доктор? — взволновано проговорила она.

— Беда в том, что я имею дерзость читать в вашем сердце: вы ненавидите вашего старого мужа и в большей или меньшей степени не любите и его детей. Их выздоровление — смертный приговор для вашего личного счастья, милая княгиня.

— Мой Бог!.. да ужели, не шутя, вы можете читать в сердце человека!.. — воскликнула она в порыве внезапного волнения, но, быстро спохватившись, продолжала уже в другом тоне, стараясь овладеть собой. — Странная манера, однако, у вас говорить прямо в глаза то, что вам только ложно кажется. Вы жестоко ошибаетесь, господин доктор, не смотря на всю вашу самоуверенность: я люблю бедных де-

ток моего старого мужа сильнее, нежели от меня этого требует мое положение мачехи. Затем можете думать обо мне, что хотите, господин проницательный медик.

Она смотрела на меня теперь с гордым спокойствием, хотя из ее черных глаз, так сказать, светился обман.

Очевидно, разговор принимал неблагоприятный для меня оборот. Надо было устроить так, чтобы она заговорила иначе, и я поступил очень просто: отошед от нее, я с холодным и насмешливым видом низко ей поклонился и направился вдоль галереи.

— Доктор, еще на два слова.

Я обернулся.

— Как это странно, право: вы с таким холодным видом уходите от меня, точно считаете себя оскорбленным.

— Видите ли, княгиня, я имею обыкновение сразу решать вопрос: могу я быть полезен особе, с которой говорю, или нет. Я вас выслушал и бесповоротно решил: нет.

— Оригинально и очень решительно, — проговорила она со смехом. — Право, доктор, эта смелость и резкость меня чрезвычайно пленяют, как исключительная особенность. Кроме того, надо сознаться: видно, что вы понимаете сердце человека.

Она мило смеялась, с видом, долженствовавшим заменить признание.

— Кто многое понимает, тот умеет и многое извинять. Я человек холодный, но судья всеизвиняющий и, если бы от меня зависело, готов был бы всему человечеству вынести оправдательный вердикт. Видеть в вас героиню добродетели, которая бы совершила всевозможные подвиги верной супруги, во имя чего — неизвестно — может ожидать от вас разве человек с медным лбом. Закон жизни настоятельно призывает вас к освобождению от цепей, в которые заключил вас случай или, как принято выражаться, судьба, и если эти цепи не будут разбиты, вы будете страдать и мучиться мыслью, что ваша дивная красота пышно расцветает под солнцем юга, не услаждая ничьих взоров. Вы все более будете проникаться жалостью к себе, к своей молодос-

ти, красоте, к вашей жизни, пламень которой зажжен природой, по-видимому, совсем напрасно.

— Вы хорошо сделали, что прибавили это словцо: по-видимому. Да, я далеко еще не уверена — напрасно ли...

Она многозначительно посмотрела на меня такими широко раскрывшимися, золотисто-черными и смеющимися глазами, что, признаюсь, их огонь, казалось, пробежал по всем моим нервам; затем, не помню каким образом, ее рука очутилась в моей.

— Как бы ни было, доктор, я вижу, что вы один из тех редких людей, по отношению к которым можно рекомендовать полную откровенность. Да, вы правы: любовь к жизни и свободе — сильнейшие чувства в человеке, и этим, я полагаю, все сказано. Что ж дальше, однако же... не могу же я возненавидеть детей моего мужа потому только, что они налагают на меня известные обязанности и стесняют мою свободу и, подобно Медее...

Это слово было произнесено шепотом со странным выражением в глазах, так что мне почувствовалось, что с глубины их на меня смотрит зарождающееся преступление. Меня охватило непонятное, но приятное волнение и чувство удивительной близости к этой женщине. Над нами, так сказать, уже витало преступление и это чувствовалось нами обоими. Оно смотрело из глаз, носилось в наших умах и вместе с чувством обоюдного влечения обоих нас как-то опьяняло.

— Княгиня, вы ошибаетесь: Медea была матерью погибших детей, но вы связаны с этими больными калеками совершенно механически.

— Тише, доктор, — прошептала она испуганно, — Бога ради, оставьте эти ужасы. Да к тому же, слышите ли, это шаги моего мужа. Предупреждаю, он страшно ревнив, как Отелло. Я утешаю себя только тем, что в моем лице он ни в каком случае не найдет Дездемоны и не задушит меня, как ее — ее мавр. Все-таки, отойдите... или нет, позвольте... поздно.

В самом деле, из маленькой двери вышел князь и, увидев нас вдвоем, с видом изумления расставил руки в обе сто-

роны, в то время как гримасы в его лице явно говорили, насколько ему это приятно.

— Вот и прекрасно. Ты уже познакомилась с нашим доктором, душенька. Прекрасно. А знаешь ли, Тамарочка, пойдика к нашему сыну... Доктор, вы, конечно, останетесь у нас обедать, я вас не пущу... моя дочь без ума от вас... Ах да, моя Тамара, дочь тебя зовет, выйди-ка...

Он остановился, почувствовал, что запутался в своих словах и, полураскрыв рот, стал смотреть в лицо своей жены. Последняя презрительно прищурилась и насмешливо проговорила:

— К кому же мне идти? К твоему сыну, или к дочери, или к обоим вместе, или ни к тому, ни к другому? Я избираю последнее.

Она круто повернулась и начала сходить с террасы в сад.

— Чудесная женщина моя жена, и как любит моих бедных больных... Моя верная... Пенелопа...

Он странно рассмеялся, точно радуясь своему собственному сравнению своей жены с Пенелопой.

— Но представьте, она пользуется чудесным здоровьем и цветет, как роза, не нуждаясь в ваших услугах, любезный доктор...

Я сделал холодное лицо и, бесцеремонно прервав его, повел речь о его больных. Я довольно долго распространялся о состоянии их здоровья и закончил свои слова заявлением, что его сына я буду лечить электричеством, дочь — железом. Старик был очень доволен и сейчас же распорядился послать в город за аппаратом и лекарствами.

Я провел в его доме ночь, на другой день я не уехал по разным причинам, на третий тоже. Я оставался под разными предложениями, чему тайно способствовала хозяйка дома, действуя в этом направлении на мужа. За это время я довольно близко сошелся с княжной Ниной, но беседовать с ее прелестной мачехой мне мешал старый сатир — ее муж.

В отместку за это, она ловко устраивала мимолетные встречи со мной, но, кроме того, мы вели разговор без слов, одними глазами. Только в последние часы моего пребывания в доме, нам удалось остаться вдвоем в маленькой комнате.

Мы сидели рядом на диване и тихо разговаривали.

Странный характер имел этот разговор. Ни один из нас не упомянул ни одного слова, после которого возможно было бы сказать: однако, это есть умысел на убийство больного под видом его излечения, но мы прекрасно понимали друг друга. Недосказанные слова договаривались из глубины наших глаз с самым выразительным красноречием, тонкими улыбками, змеившимися на губах, и отражались в душе увлекательной прелестью взаимного согласия на грехопадение, дополнялись пожатием рук и из кончиков пальцев одного пробегали по нервам другого, вместе чувством опьяняющего сладострастия, совершенно как звуки по струнам какой-нибудь арфы, по которым ударяют пальцы музыканта. Удивительный все-таки инструмент этот двуногий царь земли — человек с его струнами-нервами, по которым дьявол и ангел попеременно отыгрывают свой репертуар бесконечного разнообразия от сатанинского хохота до самых торжественных аккордов плачущей души, с его мозгом, в котором, как в волшебном фонаре, отражаются картины мира, занимая и пленяя его «я». Не менее удивителен и я, доктор Кандинский, самая сложная органическая машина, по моему беспристрастному мнению о себе, но, увы, машина — не более.

Сидя рядом с самой очаровательной из всех дочерей Евы и обдавая жар всех своих ощущений холодом иронии и самоанализа — занятие чрезвычайно полезное в смысле познания самого себя, — я смотрел на нее, испытывая род какого-то сладостного головокружения, точно нас что-то уносило под нашептывание самых необузданных речей. Меня вполне можно понять, если только можно представить себе ее чудное лицо, озаренное блеском ее смеющихся глаз, в которых сверкали золотистые искорки, электрически отражаясь во мне, — ее заразительно-увлекательный смех на розовых губах, от которых, казалось, исходил жар страсти. Я, однако же, вовсе не считал себя побежденным обаянием этой женщины, а совсем наоборот — обдумывал план победить ее. Я был сдержан, минутами резок и, коварно заставив ее разговориться, в свою очередь дал ей понять, что роль

медика допускает всевозможные способы лечения и что в искусственном поддержании жизни калек нет ровно ничего гуманного. «Знаете, княгиня, — говорил я ей, — в сущности, нет ни малейшего резона поддерживать подгнивающий худосочный организм, в котором бьется опечаленная грустная душа. Страдающий субъект с прекращением жизни только выигрывает в смысле уничтожения страданий. Человеколюбие должно заключаться только в одном: в уменьшении страданий на земле. Поддерживая слабые существования, мы достигаем как раз обратного — увеличения страданий. Люди, одержимые слабостью, называемой любовью к ближнему, обладают родом слепоты: они не хотят видеть, что, спасая несчастных, они обрекают их на мучения; жестокие умы часто видят дальше: отсекая голову, они уничтожают боль. Я допускаю мысль, что какой-нибудь Каракалла, бросавший тысячи людей в Тибр и на съедение зверям, уменьшил сумму страданий на земле, а Людовик Святой — увеличил. Кроме того, он вызвал чувство проникновения жалостью — оно мучительно. Стоит только подумать обо всем этом хорошенько, чтобы сердце превратилось в камень. Не удивляйтесь, княгиня Тамара Георгиевна, если я кажусь вам злым».

— Доктор, вы мой добрый гений, я знаю, что вы свято исполните обязанность медика в отношении бедных детей моего доброго старого мужа: они будут здоровы.

Все это она проговорила с особенным выражением лица: оно светилось насмешкой, губы смеялись и в глазках еще ярче засверкали искорки. Я склонился к ее уху и прошептал:

— Ваш муж с его детьми и ваша личная свобода и возможность наслаждения — условия несовместимые. Княгиня, вы, конечно, понимаете, насколько затруднительно в этом случае положение доктора.

— Вам надо только приучить себя к мысли, что у вас один пациент — я, проговорила она шепотом, склонившись ко мне на плечо. Я взял ее за руки и строго посмотрел ей в лицо.

— Знаете, княгиня, такая близость с такой роскошной женщиной, как вы, может возмутить холодное спокойст-

вие медика, и он может подвергнуться модной болезни сердца — любви.

— Что ж такое, — влюбитеcь, доктор, эта болезнь не смертельна, — воскликнула она с громким хохотом и вдруг, положив руки на мои плечи, начала выразительно смотреть на меня.

— Если бы я вам сказал, что вас люблю — вы поверили бы мне?

— Почему же нет? Говорят, это чувство очень своеобразно, и к тому же, любовь смиренная нисколько не может нарушить моего покоя; другое дело вулканическая и пылкая; но против нее у меня имеется крепкий оплот в лице моего мужа.

— Этот оплот — груды старых костей — можно столкнуть одним движением...

Я проговорил это с неожиданной для нее пылкостью и, взяв ее руки, привлек к себе... На минуту она замерла в моих объятиях и, как бы нечаянно ответив на мой поцелуй тихим движением губ, высвободилась из моих рук и отбежала.

— Доктор, теперь я вижу, что под ледяной холодностью вашей внешности скрывается огненный дух. Оригинально. К своим советам попробовать влюбиться в меня я буду относиться осторожнее.

И, глядя на меня пламенными глазами, она с тонкой улыбкой продекламировала:

Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода.

VII

На длинном мраморном столе анатомической камеры лежал труп. Это было тело грузина, который покончил с дальнейшим своим существованием посредством отравления,

и мне было предложено с помощью вскрытия найти в его внутренностях присутствие яда.

Моя работа всегда сопровождалась процессом особого рода злобы во мне. На этот раз это чувство во мне явилось в сопровождении целого роя холодных мыслей, получивших почти осязательную реальность. Они кружились и вились в моей голове, подобно вещим ведьмам, умеющим только холодно смеяться. Очень может быть, что с большинством хирургов никаких подобных процессов не бывает и они выполняют свой роль автоматически, без мыслей в голове. Для них труп только труп и ничего больше, но со мной происходило иное: глядя на холодное, отвратительное тело мертвеца, я мысленно воссоздавал всю его жизнь с его стремлениями, надеждами, верой — и откуда все бралось? Нервы, мускулы, клеточки — все это здесь, под моим скальпелем, и мне до отвращения делалось ясным, что человек — машина, только машина и больше ничего. Вот он предо мной, весь этот дивный аппарат, с своими тончайшими струнами, разносящими мелодию сердца к другому аппарату — мозгу, где миллионы других тончайших струн, результатом своих движений, порождают весь океан человеческой мысли. В конце концов, все прошлое человечества, вся мировая поэзия, все светлые грезы о счастье, истине и любви — все это — порождение механического движения машины, и потому не могут быть ничем иным, как колоссальным самообманом. Мы так или иначе мыслим и чувствуем в зависимости от совершенства нашего устройства, точно так же, как различные инструменты издают те или иные звуки — смотря по искусству их мастера; порвите одну струну, и музыка получится иная, порвите струну на лире человеческой души — нерв, и человек заговорит иначе. Прославленный Шекспир есть не более как чудесная, висевшая над миром Эолова арфа великого мастера — природы. Она прозвучала «Ромео и Джульеттой», но если бы в ней была порвана хоть одна струна, или иначе, хоть один нерв в голове певца, то песнь получилась бы совершенно иная, могущая усладить слух разве сумасшедших. Картина, собственно, получается обидная для нашего самолюбия и вывод грустный:

люди — марионетки с бесконечным количеством ниточек и штифтиков: невидимая рука нажимает на штифтик — собственные руки автомата поднимаются к небесам и он проносит: «Алла»; рука нажимает другой штифтик: марионетка извлекает меч и летит убивать врага; задвигались новые клапанчики — марионетка-ученый исписывает фолианты книг о любви к ближним, причем музыку своей арфы-души принимает за доказательство истины, бессознательно вдохновляет автоматов, называемых народами, и вот люди обнимаются в братском единодушии для того, чтобы потом, под влиянием новых впечатлений, осмеять свою чувствительность и, извлекая мечи, перебить друг друга. Так это всегда и происходило, и история есть не более как различные сцены гигантской трагикомедии мира, разыгрываемой людьми под влиянием возбуждения в их организмах тех или иных нервов. Все это, может быть, и вполне целесообразно с точки зрения физиологической, но люди напрасно упразднили владычество сатаны над миром: он со своим штатом подвластных ему духов мог бы, по крайней мере, быть зрителем трагикомедии, разыгрываемой всеми нами, и оглушительно громко хохотать.

Ну-с, господа, вы полагаете, вероятно, что такие рассуждения — опасная крайность. Что ж, обратитесь в таком случае к вере, ведь другого выхода нет: или верить, или думать, не ставя для своих мыслей никаких преград.

Комната, в которой я находился, напоминала склеп со сводчатыми потолками и маленькими окнами. Свет висящей лампы бросал огненный круг на лежащее тело мертвеца, краснеющее в глубоких разрезах, проходящих от груди вдоль живота. Лицо трупа, окаймленное черной бородой, было бледно-фиолетового цвета, с каемкой слюны вдоль окаменевших губ, и неприятно поражало выпученными глазами, зрачок которых, как казалось, был устремлен на меня. Я смотрел с отвращением на его внутренности, вглядываясь моментами в его глаза, и тогда меня охватывала еще большая злоба: я глубже погружал нож и резал мертвеца с методической медленностью и, должен признаться, испытывал странное удовольствие — удовольствие вампи-

ра. В моей душе было как-то торжественно-злобно и во мне точно что-то смеялось.

Несмотря на все это, посреди моих страшных занятий в моем воображении поминутно появлялась фигура обольстительной женщины. Она смеялась и как бы говорила: видишь, как я прекрасна и как отвратителен мертвец, которого ты режешь с такой злобой. Убей моего мужа и его калек-детей, ведь человеческие существования для тебя ровно ничего не значат, ведь люди — машины, поверни штифтик — машина остановится; женись на мне — я редкая красавица — и ты будешь очень богат.

«Поистине над такими пустяками, как смерть, не стоит ни минуты задумываться», — отвечал я самому себе в то время, как мои глаза смотрели на внутренность мертвеца и я почти физически ощущал ничтожество жизни. И чем внимательнее я всматривался в мертвеца, тем более проникался холодной иронией и умственной гордостью: я испытывал чувство человека, отстраненного от общей жизни и с презрением созерцающего верчение людей-марионеток; я знаю причину их ужаса перед актом убийства: оно порождается особым устройством мозга и нервов; порвите вот эти тоненькие нити, и всякий ужас перед громами небес пройдет. Очевидно, что в природе не существует ни зла, ни добра и никаких громов над нами нет. Аттила мог покрыть трупами пол-Европы, и в течение всего этого времени небеса безмолвствовали и фурии раскаяния не терзали его души; пьяный Пахом убил Ивана и совесть измучила его: он умер. Я полагаю, что контраст между этими двумя людьми может заключаться только в одном — в различии их нервов, благодаря которым Аттила вдохновлялся видом крови, Пахом наоборот — она его ужасала; такая же противоположность между их нервами, как между мелодией органа и флейты. Возможен ли после этого вопрос: где истина и кто прав — Аттила или Пахом; это все равно, как если бы спросить: флейта или орган? Моя гордость решительно заключается в одном: повиноваться исключительно выводам холодного ума, убивая в себе силой воли всякую чувствительность, исходящую из моей организации. Явится раскаяние,

или сожаление, или чувство чести — я должен высмеять в себе все это и задушить в себе эти чувства, как Медея своих собственных детей.

Все эти рассуждения зловещими тенями кружились в моем уме, холодя мою душу. И, думая таким образом, я продолжал свою работу с острой злобой и, как мне кажется, чувством отвращения к людям. Да, я все более их начинал ненавидеть по мере того, как пропасть между мной и ими делалась все глубже. Я задавался целью расширить ее — в этом заключалась моя гордость — и играть с людьми, мучить их, наружно всегда сохраняя вид самый приличный.

«Ты, самая красивая женщина в мире — будешь моей. Я опутаю тебя цепями нашего обоюдного заговора и ты почувствуешь мое влияние — человека с железной волей. Не веря ни во что, я признаю действительным только одно — наслаждение, и с тобой мы будем пить из этой чаши полными глотками».

При этих рассуждениях образ красивой женщины неотступно носился в моем воображении, увлекая меня от картин смерти в зеленые кущи, полные розами любви. Почему-то именно теперь мой план мне представлялся чрезвычайно удачной выдумкой, а отравление пациентов — простым актом приостановки маятника. Да, я ее опутаю моими замыслами и стану приводить их в исполнение с холодной решительностью и самой тонкой дипломатией. Теперь я вполне ясно ощущал в себе полную решительность привести в исполнение свои страшные планы. Я как бы закалялся видом смерти и процессом разрезывания мертвеца: делалось до отвращения ясным, что человек только противное соединение костей и крови — автомат, верчение которого по земле называется жизнью, но остановить это верчение может простое движение руки. В этом состоянии холодной злобы мои мысли о человеке, как автомате, получали удивительную рельефность. Меня охватывало желание скрытого убийства, тайного методического выполнения начертанной мной программы. В моих замыслах было что-то демонически-горделивое, смелое, оригинальное, дразнящее воображение. Читатель может мысленно добавить: от-

вратительное и позорное, и я не буду спорить, кто из нас прав. Наш умственный мир, как и природа, подвергается всевозможным нарушениям обычного покоя: в нем бывают свои вихри, бури и смерчи. Попадают люди, умственный покой которых можно сравнить с постоянным штилем на море, и к ним я не обращаюсь: они меня не поймут; но кто беспокойно думал до мучительности и озлобления, тот понимает, что мысли, высказанные мной, мучают не одного меня. Они появляются и исчезают независимо от нашей воли, то заползая в душу, как холодные змеи, то сжигая ее, как огонь. Наша виновность или невинность здесь, как видите, ровно ни при чем: ведь иной человек безгрешен только потому, что у него вечный штиль в душе. Я уверен, что виновных совершенно не оказывается на этом свете.

Я покончил со своим мертвецом и отошел от стола.

— Он отравился йодистым калием, — сказал младший врач, вышедший из другой комнаты.

— Вы сами это видите, да, йодистым калием. Составьте акт и пришлите мне подписать. Скажите, пожалуйста, кажется, вы очень не любите процесс этой работы?

— Да, признаюсь, Георгий Константинович, очень не люблю. Я только смотрю на вас и удивляюсь — у вас такое лицо, такое...

— Холодное?

— Да, если хотите...

— Я наслаждаюсь адской радостью или, пожалуй, особенным таким сарказмом, но вы не понимаете этого чувства, моей злобы, которой я, пожалуй, и не скрываю. Представьте себе только это, и вы поймете меня: человек рождается с криком и плачем от матери, которая тоже со скрежетом зубов разрешается маленьким гражданином мира. Оба голоса и этим дуэтом точно оплакивают маленького гостя мира, призванного играть дурацкую роль на сцене шутовской трагикомедии. И вот она начинается: человек растет, болеет и плачет, его мучают душевно и физически, вколачивая в него добрые начала — веру и любовь. Но природа делает свое: разжигает его кровь и ведет к порокам и разврату, преклоняя к земле, как скота: думая, что им овладел дьявол, он

с недоумением апеллирует к небесам, молитвенно складывая руки. Пока он живет, миллионы бед сыпятся на его голову и фурии грызут его душу... Человек умирает и *finita* глупой комедии, если не считать, впрочем, что в конце концов он может попасть к нам на анатомический стол, где над ним учинят последнее издевательство. До свидания.

Я вышел.

Солнце только начало подниматься. Я сел в фаязтон и, немного спустя, лошади остановились у моей квартиры. Подымаясь по лестнице, я вспомнил, что меня ждет гостья — молоденькая имеретинка. Несколько времени назад я вывечил ее маленького брата и она преисполнилась самой восторженной благодарностью ко мне. Я воспользовался ее настроением и устроил так, что она стала часто захаживать ко мне. Это было чудное, грациозное создание, юное и чистое, как первое дыхание весны, и дикое, как серна. Кончилось тем, что она стала робко проговариваться о любви к доброму доктору. Я ничего не имел против коротенького союза с дикой девочкой, и такова уже моя несчастная звезда, что как-то нечаянно этот цветок, возросший среди долин Рионы, очутился на моей холодной груди.

Спустя некоторое время она впала в отчаяние и своими слезами стала надоедать мне.

Я вошел в свою спальню и остановился в изумлении.

Около окна, обратившись лицом к восходящему солнцу, стояла на коленях моя девочка и молилась. Звело-каштановые волосы, спутавшиеся во время ночи, падали на ее беленькие неразвившиеся плечи, не позволяя видеть ее лица. Я зашел сбоку. Ее ярко-голубые глаза, блиставшие от слез, были обращены к небу и маленькие руки приподняты с видом очень невинным, что делало ее похожей на молящегося херувимчика. Она что-то шептала, и хотя я всего не помню, конечно, но приблизительно что-то в этом роде:

— Я великая грешница... Никто не хочет знать, как я страдаю. Открыться отцу — он убьет меня. Остаешься Ты, Господи... Но я не умею молиться... Ты так высоко живешь... Не услышишь.

«Рационально, — невольно прошло в моей голове. — На-

до большой штат херувимов, чтобы принимать прошения от такого множества челобитчиков».

— Ты все можешь... Ты всемогущ... Пусть мой доктор любит меня... Изменит — убей его... Тогда и я умру... Легче мне умереть, нежели видеть его с другой.

— Вот как! какая эгоистка, однако же.

С этими словами я положил руку на ее голову. Она вскинула на меня свои голубые глаза и, простерши свои детские руки, охватила ими мою шею и повисла на ней.

Я стоял неподвижно минуты две. Наконец, мне это надоело.

— Скажи, пожалуйста, мой ангел — ты намерена долго висеть таким образом?

Она внимательно начала всматриваться в мое холодное лицо с таким видом, точно медленно читала свой смертный приговор.

— Ты меня больше не любишь!.. — воскликнула она с видом неподражаемого отчаяния, отбежала к стене и, прислонившись к ней спиной, закрыла лицо руками. Плечи ее нервно вздрагивали.

— Послушай меня, Джели, — начал я, медленно шагая по комнате. — Вечного в этом мире нет ничего. Маленькие радости нам даются здесь на короткое время, а на долгое — только большие страдания. Посмотри на розу: она расцвела и увяла; взгляни на Казбек: ледники его никогда не тают. Наша любовь — роза, жизнь — ледники. Ты хочешь, чтобы роза нашей любви всегда цвела — это невозможно. Я не люблю тебя больше. Цветок увял навсегда, остались ледники. Это делает так Бог — чтобы радости были коротки, а с Ним, ты знаешь, совершенно бесполезно спорить: Он сильнее меня. Не плачь, Джели.

Ее слезы превратились в рыдания. Я смотрел на нее, одновременно ощущая сожаление и досаду, так как думал в это время, что заглушить в себе всякую чувствительность, согласно начертанной программе, не так-то легко.

— Довольно, Джели, вот все, что я могу для тебя сделать, — и с этими словами я вынул из комода кипу бумажных денег и, подавая ей, сказал:

— Возьми это, дитя. Вспоминай обо мне или, пожалуй, не вспоминай: это не от твоей воли зависит, как моя любовь не от моей. Возьми.

Девушка подняла на меня свои голубые глаза, в которых сверкнуло безумие. Она взяла у меня кипу ассигнаций и с отчаянным смехом, повертев их в руках, вдруг, к моему удивлению, начала рвать их в мелкие клочья. Потом она снова посмотрела на меня с презрением и яростью, стиснула свои мелкие, как жемчуг, зубы и вдруг изорванные ассигнации бросила мне в лицо.

— Бессовестный и жестокий доктор Кандинский, возьми свои деньги и отдай русской... Они берут... Прощай навсегда.

Она подбежала к двери с легкостью дикой серны и скрылась».

На часах большой комнаты, где происходило чтение этих записок, пробило два.

— Довольно, господа, я не могу больше читать, липнут глаза. Надо же, наконец, и спать. Продолжение похождения этого печального героя мы будем узнавать постепенно. Завтра в семь часов вечера прошу быть всем в сборе, господа.

Лидия Ивановна поднялась с решительным видом.

— Позвольте, я вас задержу на две минуты, — проговорил Бриллиант. — Вы какое же из всего того вынесли впечатление?

— Отвратительное, — ответила она, рассмеявшись. — Герой этот, попросту говоря, отъявленный... негодяй. Вот увидите, скоро он начнет пожирать живьем людей, как готтентот. Знаете ли, при других условиях я никогда не поверила бы, что среди медиков могут появляться такие господа. Он сам так себя обрисовал и отравился... приходится верить.

— Вы неправы, Лидия Ивановна. Негодяйство этого доктора в высшей степени интересно: оно психологически вытекает из брожения его мыслей. Между человеком, который и не может быть никем иным, как мерзавцем, и таким, который сделался таким вследствие умственного извращения и невозможности примирить противоречия жизни — целая бездна. Человека делает интересным исключительно процесс борьбы в области его ума и духа, в силу которого в конце концов он приближается к ангелу или черту. Иначе это тигр или овца, и для нас то и другое неинтересно.

— Не знаю, Бриллиант, может быть, вы отчасти и правы, но как бы то ни было, рассуждения его ужасны... Для него люди — флейты и скрипки, — вот парадоксы!.. Вы, Бриллиант — контрабас, я — виолончель, а вы, Куницын... беденький, да что вы сегодня такой смешной!..

Всматриваясь в лицо молодого человека, Лидия Ивановна протяжно рассмеялась и смех этот звенел, как ручеек, пробегающий по камням.

— В самом деле, что с тобой, брат? — сказал Бриллиант. — Ты смотришь мрачно, но надеюсь, поведение этого злополучного доктора несколько не касается до других юных жрецов Эскулапа.

— Касается, и даже очень, черт возьми! Вы все глупцы, если этого не понимаете, — воскликнул Куницын и загоревшимися глазами обвел лица присутствующих. — Для меня совершенно ясно, что его мысли должны мучить многих из нас. Мы все признаем, что организм наш — машина, и все преданы самому грубому реализму. Черт возьми, разве не понимаете, что невозможно все отрицать и быть спасителем ближних? Из нас могут вырабатываться мученики науки или палачи, только первые что-то незаметны. Затем, большинство — алчные эксплуататоры человеческих страданий, для которых спасать или убивать — безразлично. Прощайте.

Он быстро направился к двери. Лидия Ивановна, переглянувшись с другими студентами, со звонким смехом пошла его догонять.

На другой день, вечером, вся компания снова собралась в

той же комнате. Девушка, развернув толстую тетрадь, сказала:

— Ну-с, господа, да разверзится ваш слух. Внимайте о дальнейших похождениях нашего интересного медика. Вот увидите — скоро он начнет пожирать своих больных, как рябчиков.

Она рассмеялась и приступила к чтению.

VIII

«— Милый доктор, вы сегодня очень насмешливы, — говорила дрожащим голосом Нина Евстафьевна, сидя со мной в тени беседки из вьющихся виноградных лоз.

Под тонкой кожей ее бледного лица играл легкий румянец, тонкие губы были сухи и страдальчески полураскрылись. Она была очень мила и отличалась той болезненной красотой, которая наступает одновременно с особого рода болезнью сердца, против которой железо бессильно. Как видите, мое лечение быстро привело к цели: пациентка ожила и все ее существо, казалось, светилось особенным светом, исходящим из зажженного в ее сердце пламени. Я не отступал от основного принципа медицины: клин выбивать клином, но вместо микстуры прописал другой напиток — более приятный и свойственный женской природе — любовный яд. Кроме того, вот уже месяц, как пациентка, по моему предписанию, разгуливала на свежем воздухе, вдыхая в себя чистейший кислород, глотала в гомеопатических дозах железо и в аллопатических другой напиток, который можно назвать «ядом любви». Ее брата в это время я лечил электричеством. Оно дало, как я и ожидал, обманчиво-благоприятные результаты, приведшие князя и старую грузинку в восторг, так что моя репутация волшебника в их глазах все больше росла. Я, однако же, понимал, что это только временное возбуждение нервов, и на вопросы отца отвечал двусмысленно, с видом величаво-таинственным, как римский авгур.

— Monsieur Кандинский, я должна сознаться: иногда вы просто пугаете меня; вы смотрите на меня страшными глазами, точно иронизируете, глядя на меня. Мне больно думать, что я, такое слабенькое, больное создание, не вызываю в вас участия. А тогда, помните, вы мне показались таким добрым, что я подумала, что ко мне явился мой добрый ангел. Но я понимаю, вы разочарованы, вам можно многое простить, в вас все интересно и все мило мне.

Она протянула последнюю фразу с неизъяснимой прелестью и стыдливо поникла головой.

— Добрый ангел и доктор Кандинский — что-то не вяжется. Впрочем, я могу отнести к себе это сравнение с добавлением одного коротенького словца: падший; насколько мне известно, в небесной обители он считался первым скептиком и был обращен в сатану, и поделом: сомнение — широкая дорога в ад. Так это происходит и у нас, только слово ад надо заменить другим: мучение. Ну да-с, я мученик, если хотите, мученик мысли, потому что вопрос Пилата: «Что есть истина» так и остается вопросом без ответа вот уже почти двадцать столетий, и — мученик любви, потому что ее пламя гасится во мне холодным отрицанием.

Помню хорошо, что все это я говорил с иронизирующим и бесстрашным видом, с целью, говоря попросту, порисоваться; но вдруг, к удивлению своему, почувствовал, что как-то нечаянно высказал чистейшую правду о себе.

— Милый Кандинский, я вижу, что не ошиблась в вас. Вы ожесточены и презираете людей, потому что они вас не стоят. Вы выше всех и вы такой ученый, но ваши мысли — холодная бездна. Доктор, вы меня трогаете, хотя вы и злы. Мне хочется плакать над моим милым падшим ангелом...

Она простерла ко мне свои нервно-дрожащие руки, в глазах ее светилась мольба и головка закачалась, как цветок во время ветра. Я сжал ее холодные худенькие руки в своих; голова ее склонилась к моему плечу и черные кудри ее волос свесились, как виноградные грозди. Сколько прелести и грации было в ее искреннем порыве и сколько трогательной нежности в выражении ее маленького лица с светящимися, полными мольбы, как у робкой газели, глаза-

ми! Но ее пальцы были холодны как лед, под тонкой кожей виднелись синеватые жилки, и вдруг во мне произошло что-то дикое и до крайности смешное. Что делать, я привык быть в роли анатома, и притом у меня было пылкое воображение, и оно нарисовало мне картину далеко не поэтическую: артерии и вены со струящейся кровью по ним, учащенно бьющееся красное сердце, бесчисленные нити волокон... Мою душу внезапно охватил холод бездны и я почувствовал злобную веселость. Охватив рукой ее тоненькую талию, я начал ей что-то нашептывать. Внутренне я, конечно, глумился, но однако же, когда она, приподняв голову, уставила на меня свои чудные глаза, мне показалось, что сама поэзия поднялась с глубины кровавого скелета, которым она мне рисовалась. Потом она снова как бы замерла, прислушиваясь к каждому моему слову, и только вся нервно содрогнулась, почувствовав на своем лице мой холодный поцелуй.

— Георгий Константинович, вы меня или любите, или мало уважаете, — сказала она слабым дрожащим голосом.

Я нарочно не ответил ей ни слова, предоставив ей мучиться загадкой — люблю я ее или мало уважаю, — и умышленно стал смотреть сквозь просвет листьев куда-то в синеву неба.

Раздались чьи-то шаги и шелест платья, и к нам в беседку неожиданно вошла княгиня Тамара. Она окинула коротким, но внимательным взглядом свою падчерицу, рассмеялась одними губами, отчего лицо ее казалось злым, и протянула мне руку.

— Monsieur Кандинский, мне надо с вами поговорить насчет моих дорогих больных. Мой муж продолжает восторгаться вами как человеком и медиком: наша милая Нина неузнаваема. Скажите, как поправилась!

Княгиня снова стала смотреть на дочь своего мужа, а я, в свой очередь, не без тайного наслаждения красотой, стал всматриваться в мамашу. Несмотря на то, что она не переставала улыбаться, мне казалось, что из ее черных глаз льется холодный свет в самое сердце моей пациентки, оледеняя ее. В самом деле, румянец исчез с лица девушки, пальцы

ее нервно вздрагивали и глаза с ужасом смотрели на супругу ее отца.

— Георгий Константинович, вы просто чудеса делаете с моей милой Ниночкой, — сказала она, с многозначительным красноречием глядя на меня. — Вы — маг и волшебник. Пойдемте.

Она вышла.

— Что с вами? — спросил я мою пациентку, оставшись с ней снова наедине.

— Я опять больна. Эта женщина рождает во мне страшные предчувствия. Смотрите, я дрожу, как прежде.

— Успокойтесь, пожалуйста, — произнес я шепотом и начал проводить рукой по ее волосам.

Она смотрела на меня с видом очарования и вдруг поднялась, точно наэлектризованная.

— Я не боюсь ее, когда вы со мной, но если вы пойдете против меня в союзе с этой женщиной... я умру.

Она выбежала из беседки в страшном волнении. Что, однако, означали ее слова? Можно было подумать, что она с проницательностью сомнамбулки прозревает сердца и видит грядущее. Озабоченный этим, я направился к поджидавшей меня княгине.

— Пойдемте дальше, Георгий Константинович, дальше, дальше, чтобы нас не видели ничьи глаза. Говорю вам — ревность моего мужа переходит всякие пределы. У этого Отелло есть и свой Яго — старая грузинка, которую вы так не любите. Идемте, вот сюда.

Говоря таким образом, Тамара быстро шла по аллее сада и, идя сзади, я имел возможность любоваться ее высокой гибкой фигурой, перехваченной в талии золотым поясом, ее горделивой головой, над которой вздымалась целая корона черных волос. «С такой женщиной хорошо идти по пути жизни, взаимно разделяя чувство презрения к людям и время от времени утопая в роскошной чувственности. Путь к ней загородили три камня, которые надо сбросить в пропасть».

— Сядемте тут, здесь нас никто не услышит.

Она села на ветхую скамейку, обросшую мхом. Внизу у

наших ног расстиралось маленькое озеро, голубоватая вода которого была так прозрачна, что в ней, как в зеркале, отражалась возвышающаяся отвесной стеной гора с тополем, шелестящим на ее вершине. Пролетающие над нами коршуны и орлы отражались в воде быстро проходящими теньями.

— Как здесь хорошо, — не правда ли?

Я безмолвно согласился с ней легким наклоном головы и нарочно начал вопросительно смотреть на нее. как бы спрашивая объяснения, зачем она меня сюда привела. Я видел, что мое равнодушие ее раздражало. Этого я и хотел.

— Мой милый друг, мы с вами видимся в последнее время очень часто, мы так сблизились в короткое время, точно знакомы целые годы, мы понимаем друг друга с первого слова, да и без слов, кажется, понимаем. И все-таки эти полунамеки, эти фразы, высказываемые загадками, вызывают невольную мысль, что мы точно опасаемся друг друга. И я должна согласиться — иногда вы мне кажетесь загадкой.

— Но вы никогда не казались мне загадкой, Тамара Георгиевна. Ваша душа для меня открытая книга, и мне все ясно.

— Пожалуйста, оставьте вашу таинственность. Она меня начинает утомлять. Ну, что же ясно вам?

Надо было ее окончательно рассердить: этим способом легче всего заставить женщину высказать свои истинные чувства.

— Милая княгиня, мне ясны два обстоятельства: ваша идеальная, святая любовь к старому ревнивому мужу, что, конечно, очень добродетельно и заслуживает всякой похвалы, и ваше материнское попечение, безграничная нежность к его двум больным детям.

Чудное лицо княгини вспыхнуло интересным румянцем и, нахмутив черные брови, она поднялась с камня с видом самой величавой ярости.

— Кандинский, вы сами мне предложили быть моим истинным другом, между тем, вы говорите с язвительной насмешкой, как мой враг.

— Княгиня, — начал я, стараясь воспроизвести ее интонацию и ее величавый гнев, — я повторяю только ваши собственные слова о любви к мужу и детям, которые вы мне упорно повторяли.

— Но, голубчик мой, мне казалось, что вы всегда догадывались, что мои слова надо понимать поборот.

— Хорошо, княгиня, — проговорил я очень серьезно, — я припомню все ваши слова, и все это переставлю вверх ногами.

Она с сдержанным гневом глухо проговорила:

— Я слишком горда, чтобы выслушивать слова, которые произносятся с рассчитанной иронией. После этого нам остается одно: расстаться.

Она бросила вызов, мне оставалось только принять его. Я поднялся, сохраняя самый равнодушный вид.

— Расстанемся...

И сделал несколько шагов.

— Кандинский, да куда же вы!..

— Исполняю ваше желание, княгиня.

— Ужасный человек!.. да садитесь, садитесь, надо же нам хотя объясниться, прежде чем окончательно рассориться.

Я сел и, так как воцарилось томительное молчание, то, опустив голову, начал концом палки чертить карикатуры на ее мужа и детей.

— Как это, право, вы сидите с молодой женщиной с таким холодным видом? Я вижу, что и душа ваша — лед.

Ее голос звенел досадой. Это мне нравилось; но, не подымая головы, я продолжал чертить.

— Княгиня, говорить с женщиной...

Она меня колко перебила:

— Беглыми заметками из области анатомии — слушать скучно.

— Нет, зачем же, — но восторженность придает лицам удивительно глупый вид.

— Вы прозаик.

— Да.

— Поэзии ни искры.

— Поэтизировать, но кого же? Люди — простые движу-

щиеся тела...

— Началась анатомия. Женщинам с вами было бы скучно, доктор.

Ее досада и раздражительность, вызываемая моей холодностью, явно говорили о противном, а также о том, что она очень равнодушна ко мне и вызывает меня на объяснение в любви... Я молчал, ожидая совсем иной развязки.

— Это что такое еще!..

Она быстро поднялась и, наклонившись, начала осматривать начерченные мной фигуры. Лицо ее вспыхнуло и в нем все сильнее отражались смущение и досада.

— Это — ваш муж, дама — вы, и вы будете вести его так до могилы; по бокам — ваши детки.

Она посмотрела на меня ужасными глазами, села и стала неподвижно смотреть вниз. Видно было, что я ее страшно уколол.

— Каким вы его нарисовали гадким, противным — фи!.. И эта старая руина — мой муж, фи!.. Мне кажется, что вы не лечите больных, а рисуете на них карикатуры — приятное развлечение.

Видно, что ей не сиделось и она прошлась, чрезвычайно волнуясь, и снова взглянула на рисунок.

— А этот скелет — зачем здесь? кто это?

— Ваша милая дочь.

Она взглянула на меня и, красная от волнения, захохотала злым хохотом.

— Моя дочь скелет — что такое!.. Боже мой!.. Она действительно скелет, обтянутый кожей. И с этими трупами мне приходится жить и мучиться. Нет, не могу терпеть больше. Слушайте, Кандинский.

Она села и взяла меня за руку.

— Кандинский, вы мне говорили, что не совсем равнодушны ко мне, и, признаюсь, я вам верила. Мне было приятно об этом думать... Я увлечена вами... Ну, люблю вас. Согласитесь, это простительно для меня в моем страшном положении, среди мумий, скелетов и скотского обожания меня дряхлым стариком. Я увлеклась вами, думая, что наша дружба — единственный оазис среди моей скучной,

одиноким жизни. Но вот прошло немного времени и начались между нами какие-то недомолвки, недоразумения... мы просто боимся друг друга... боимся своих планов... Но я не намерена маскироваться больше.

Она стала на мой рисунок ногой и добавила:

— Это не карикатура, а действительность — трупы и скелеты...

В выражении ее лица я прочел остальное, чего она не досказала; но мне надо было увлечь ее дальше, в пропасть, из которой без меня она не могла бы выйти.

— Княгиня, я даю вам доказательства моей полной откровенности: вы добиваетесь, чтобы я говорил прямо о скрытых ваших желаниях, о которых вы решаетесь говорить только боязливыми намеками... Желания ваши вот какие.

И, отчеканивая каждое слово, я продолжал:

— Вы хотите, чтобы я прямо вам заявил, без обиняков, что под видом спасения больных детей вашего мужа я беру на себя преступление ни для кого не видимо их умертвить...

Чудные глаза княгини расширились и усталились на меня с немим ужасом; лицо сделалось смертельно бледным. В этот момент она имела вид античной статуи, над мраморным челом которой обвивались черные волосы. Я любовался ею молча.

Вдруг по ее лицу прошла нервная дрожь и она так качнулась, что я бросился к ней, чтобы ее поддержать. Охватив ее гибкую талию рукой, я снова усадил ее на скамейку и стал целовать ее руки. Теперь я не сомневался, что мы оба связаны друг с другом более надежно, нежели это делают цепи брачные — общими планами на преступление. Всякую притворную холодность теперь можно было оставить, и я проговорил:

— Вы очаровательное существо, милая Тамара, прелестнее вас мог бы быть только ангел, но он безгрешен и потому был бы неудобен для меня. В вас соединились ад и небо. Я люблю вас.

Ее лицо вспыхнуло радостью, она положила руки на мои плечи и выразительно проговорила:

— На ваше признание я, может быть, ответила бы не

словами... Поцелуями... Знайте, что по матери я черкешенка и что в моих жилах кровь бежит так быстро, как Терек. Любите меня и знайте — когда умрет мой старый муж и когда я буду владеть его деньгами, полями и лесами, без старого Цербера, охраняющего их и меня — тогда, милый мой друг, я вам скажу: приди, владей моим богатством и мной.

При последних словах в черных глазах Тамары вспыхнули золотистые искорки, и вдруг, схватив мою шею руками, она прильнула своими горячими губами к моим губам. Это был поцелуй страстный и долгий, поцелуй, который опьянил, как вино, и в котором чувствовался призыв на обоюдный порок и преступление. Когда мне удалось заглянуть ей в лицо, оно меня поразило: в нем светилась страстность вакханки, мысли которой перепутались среди оргий, и в раскрытых концах губ — дерзкая насмешка преступницы. И, снова припав ко мне лицом, она начала шептать со страстной быстротой:

— Как я его ненавижу — этого старого Цербера. Вообрази, он сторожит меня, ходит за мной, как дворовая собака. Вы избавите меня от моих врагов, я вам верю, не рассуждая...

Она поднялась, закрыла лицо руками и, отойдя в чащу деревьев, сказала:

— Ах, на что я способна — ужас. Я боюсь себя, боюсь смотреть в свое сердце, и если бы ангел божий заглянул бы в него, он оледенел бы от ужаса... Но довольно... Я ухожу, мой Цербер, наверное, меня уже ищет. Действовать нам надо осторожно. Ухаживайте за этим скелетом, Ниной, и вы всех обманете... Прощай, мой милый... Мы понимаем друг друга. Ведь сердце сердцу весть подает.

Она скользнула за огромную каменную глыбу и скрылась. Слышалось только, как шелестел шлейф ее платья, цеплявшегося о колючки и камни.

Ночь наступила почти сразу. В отдалении грянул ружейный выстрел и почти в ту же минуту за деревьями промелькнула фигура Тамары. Я долго ходил по саду, предаваясь своим мыслям и вглядываясь в синюю ночь.

В голубом небе сияла луна и над ней, немного выше, мерцала звездочка, точно бриллиант над бледной головой какого-то сверкающего божества. На мир лилось сияние и целое море неподвижно стоящих деревьев казалось обрызганным сверкающей пылью. Тени тянулись и ползли по земле, точно таинственные привидения. В отдалении вершины гор сверкали, как расплавленный янтарь, так что невольно казалось, что по ним ступают незримые ангелы, охраняя грешный мир.

Меня положительно опьяняла эта ночь. В душе моей подымались и росли какие-то чудные неземные желания, точно стремящиеся слиться с этой ночью. Сознывая, что уношусь куда-то от земли, я силился осмелеть самого себя. «Очевидно, — думал я — если человек только машина, то надо сознаться, преудивительная — звенит такой грустью, точно по струнам ее пробегают пальцы ангела, но ведь это только доказывает, что машина расстроена — вот и все». Во мне росло непобедимое гордое стремление жить и действовать по указанию лишь одного холодного ума, и я стал осмеливать самого себя, думая с сарказмом: «Я прощаюсь с моей моральной девственностью, и потому мне грустно, как робкой деве, развязывающей пояс своей невинности».

И несмотря на то, что я гордо уносился вперед, минутами я подумывал: кто знает, быть может, моя грусть — божественная грусть, охватившая мой душу раем, веющим с небес, и тем сильнее, что я сознаю, что мои мысли толкают меня вперед... — в пропасть.

Было очень поздно, когда, наконец, войдя в отведенную мне комнату, я улегся в постель. Во всем доме царило полное безмолвие, но вдруг со стороны балкона я услышал шум шагов и шлепанье туфель, в окне моей комнаты блеснул свет и предо мной обрисовалась старческая фигура князя. В одной руке он держал зажженную свечу, в отражении которой я увидел лицо старика, искаженное до неузнаваемости. Морщины перебежали по нему, точно в какой-то отчаянной пляске, от глаз до самого рта с губами, сложившимися в одну синеватую полоску. Фигура скрылась за моим окном и вслед этим я услышал старческий, волнующийся голос:

— Тамара, жена моя!.. Ах, черт возьми! где она!

Он продолжал, но уже каким-то злобным, чрезвычай-но быстрым бормотанием.

— Этот доктор не совсем-то по вкусу мне. Красив он, кра-сив, черт побери... Если она теперь с ним... в объятиях... це-луется... о-о-о!..

Он начал быстро ходить взад и вперед по балкону все с большим волнением и яростью, что выражалось даже в не-истовом шлепанье туфель. Потом снова стал кричать:

— Тамара, Тамара!

— Я здесь, сумасшедший вы человек.

На балконе у лестницы стояла высокая женская фигу-ра, залитая лунным сиянием.

— Тамарочка!

В чувстве восторга старик пригнул голову с просиявшим, безумно смеющимся лицом и высоко поднял над собой под-свечник.

— Вы безумствовали здесь без меня, сумасшедший че-ловек, кричали, бесновались, и все только потому, что мне стало душно в комнате и я вышла пройтись в сад.

— Ангел мой, ты пошла пройтись; это совершенно на-турально. Но представь мой ужас: я просыпаюсь, тебя нет. Но я сознаюсь: я совершенное животное, что так испугал-ся... я даже подумал — не с доктором ли ты... Казни меня как хочешь, ангел мой, но пожалей твою сторожевую соба-ку. Она без зубов, но всегда будет лаять на всякого, кто бро-сит хотя взгляд на твое тело земной богини.

— Объясните ваше поведение, безумный вы человек.

— Тамара, ты ангел, а я животное, вот и все объяснение,
— проговорил старик с видом заискивающим и шутливым.

— Ревнивое животное.

— Да, мой ангел, животные все ревнивы, а человек, еще по замечанию старца Платона, пользуется в этом отноше-нии особенной привилегией. Мое оправдание, Тамара, в двух словах: я тебя люблю и, если уподобляюсь Соломону по количеству бывших у меня подруг, то ты моя послед-няя, моя Саломида, моя единственная отрада в жизни, где все суета сует и всяческая суета. К тебе одной я только и

стремлюсь, потому что из черных очей твоих исходит волшебное пламя, согревающее меня, как лучи солнца пса... Я пес, но в объятиях богини...

Его глаза засветились и лицо смеялось; по красным губам Тамары прошла судорога отвращения.

— Вы унижаете мое самолюбие, мою женскую гордость и должны же вы понять, что ваша беспричинная ревность вызывает во мне одно презрение к вам. Вы сами себя называете моей сторожевой собакой — шутовство, достойное фигляра, а не мужа. Вы убиваете во мне всякое уважение к вам. Теперь ступайте в свою комнату, безумный человек — марш.

Она гневно сделала несколько шагов и, с выражением гадливости в лице, вытянув руку, толкнула его в спину кончиками пальцев. Он шел по галерее, согнувшись, оборачивая лицо назад и глядя на свою жену, которая гневно шагла за ним с презрительной гримасой в лице.

Спустя несколько дней, ранним утром, я и княгиня Тамара вошли в комнату больного. Старая грузинка и больной спали глубоким сном. Из своего бокового кармана я достал синюю склянку; совершенно такая же склянка стояла на окне, я ее взял и, показывая княгине, многозначительно проговорил:

— Не правда ли, их невозможно различить?

Княгиня чуть заметно наклонила голову, бледная как полотно.

— Видите ли, здесь на сигнатурке написано «доктор Кандинский» — это невинная водица; здесь имя прежнего доктора — Тер-Обреновича — это яд. Я объясню старухе, что мое лекарство будет стоять на столике, прежнее — на окне: она не в состоянии их различить и будет брать со столика, как и следует. Вам ничего не стоит переставить лекарства: мое

поставить на окно, другое — на столик. Если вы в течение недели решитесь на это, мы пойдем вперед, нет — разойдемся.

Я сделал маленький поклон княгине.

Бледные губы ее чуть-чуть задвигались, но из них не раздалось никакого звука; в глазах светился ужас. Она повернулась и, когда выходила из комнаты, у нее был необычайный вид. Голова опустилась, всегда стройный стан согнулся и она как-то волочила ноги.

Я разбудил старуху, подробно объяснил, что она должна давать больному по чайной ложке из склянки, стоящей на столике, с моей сигнатуркой, и уехал.

IX

Прошло дней десять после последних событий в доме князя, когда, в прекрасное июльское утро, я снова ехал в его имение. На этот раз я был вызван коротенькой телеграммой: «Приезжайте немедленно, мой сын умирает».

«Что ж, я только дунул на слабый огонек лампадки, которая так плохо теплилась, что все равно должна была погаснуть. Да и не я один — вдвоем с моей прелестной союзницей», — думал я, с удобством разложившись в коляске. — Первый камень, заграждавший вход в мой греховный Эдем, сброшен, остались еще два». Всю дорогу я обдумывал план моих дальнейших действий с олимпийским спокойствием. Я уже сказал раз, что всякие волнения считаю свойством будничных, мизерных людишек, а я всегда считал себя целой головой выше толпы, и в факте своего настоящего спокойствия видел только подтверждение своего мнения о себе. Я должен стоять выше всякой чувствительности и общего предрассудка, в силу которого убийство считается чем-то ужасным, чуждым человеческой натуре. Теперь, разложившись в коляске, я находил особенную приятность для себя подыскивать факты, которые бы доказывали вздорность общего мнения об этом и которые бы подтверждали пра-

вильность моего собственного мнения о человеке, как машине, в которой все чувства не более как отзвуки его струн — нервов. Я помню, что с особенным удовольствием вспоминал о Наполеоне, который, будучи в Египте, шепнул своему врачу отравить всех больных чумой в Яффе. Медик возразил, что он призван спасать, а не убивать. Очень громкие слова, но они совершенно разбиваются замечанием Бонапарта, что отравить больных заставляет чувство гуманности: их мучения прекратятся. В этом примере особенно заметен контраст между простым смертным и гением. Последний свои чувства подчиняет уму и воле и свои мысли приводит в действие, нисколько не заботясь, что это может вызвать ужас в миллионах сердец. Человек толпы, наоборот — всего боится, трепещет, пред всем преклоняется, он весь во власти своих инстинктов, своей плоти и крови и его ум напоминает муху в паутине.

Я чувствовал себя свободным от всяких оков, как Наполеон, Юлий Цезарь и другие, и приятная гордость, охватившая меня, все более возрастала. И однако же, вглядываясь в себя, я нашел в себе что-то новое, чего во мне не было до получения телеграммы: это была самоуверенность, доходящая до излишества и дерзости, тревожное желание доказать себе самому свои исключительные права преследовать свои цели, игнорируя все законы природы и общежития. Я чувствовал себя как бы центральной фигурой среди мира, и мое «я» дерзко восставало против Того, которого отрицал мой ум и законы которого я решил дерзко нарушить. В глубине своей души я как бы слышал голос: ничего нет ни на земле, ни на небе, твое «я» полновластный, безапелляционный судия в этом приюте тления.

Мое настроение вообще было довольно приятным и приятность эта усиливалась при воспоминании о прекрасной союзнице моих планов и о богатстве князя, которое в конце концов должно будет перейти ко мне вместе с его красавицей-женой.

Мои мысли часто возвращались к смертному ложу моего пациента. Он должен был уже умереть — я это знал; но моментами идея, что именно я сознательно его убил, мне

все-таки казалась клеветой на самого себя: только медики пользуются привилегией разрушать человеческие жизни ни для кого не видимо, без кинжала и пролития капли крови. Как видите, я даже не подорвал своей репутации достойного медика, которую я всегда старательно оберегал, и в данном случае можно будет только констатировать такой факт: доктор Кандинский лечил больного со своим обычным искусством, но произошло печальное событие по вине дряхлой старухи, которая перепутала лекарства. Сознаюсь, господа: в процессе дурачивания публики есть своя приятность.

Коляска остановилась у крыльца княжеского дома, я быстро поднялся по лестнице и вошел в большую комнату, примыкавшую к комнате больного.

Войдя в нее, я остановился у двери, удивленный количеством находящихся здесь лиц. Тут было много дам-грузинок в своих национальных черных платьях, придававших им сходство с монахинями. Сохраняя чинное молчание, они стояли, собравшись в кружок, с неподвижностью монументов. Грузинские пожилые женщины вообще неинтересны. В их лицах нет жизни, нет отражения страстей и скрытой работы мысли, они поражают мертвенностью, точно движущиеся статуи, изваянные из бронзы. Я всегда проходил мимо них с таким равнодушием, как если бы по сторонам меня стояли мумии времен Рамзеса, поднявшиеся из своих саркофагов. Человечество вообще, по моему мнению, делится на два лагеря: на меньшинство с горящим светильником жизни в груди (совсем не в груди, но как прикажете иначе выразиться?), сияние которого отражается в лице и глазах, и на громадное большинство, в котором погас этот светильник и которое поэтому заживо превращается в ходячие мумии. Вообще, человечество состоит из головы, которая очень невелика, и огромного, вечно шумящего хвоста, который не мешает время от времени укорачивать.

Князь быстро ходил взад и вперед по комнате и по лицу его перебегало множество морщин, в глазах сверкали слезы. Я подумал, что этот человек положительно не умеет быть благодарным: садовник, срубивший гнилое дерево, глушив-

шее сад, удостаивается похвалы, а доктор, сделавший это самое по отношению к гнилому человеческому отростку, вызывает ужас, несмотря на то, что в последнем случае он очистил сад человечества от гнили и прекратил страдания. Логика во всем этом нет никакой, и это может быть понятным, если только взять во внимание, что сердце отца — это какая-то слезоточащая урна, часто тем полнее наполняющаяся влагой, чем более жалок предмет воздыханий.

Слабенькая Нина Евстафьевна стояла у окна и, приложив платок к глазам, всхлипывала; локти ее рук при этом нервно вздрагивали, отбрасываясь в стороны, точно подстреленные крылья птицы. Как бы выделяя себя из всего этого общества, хозяйка дома стояла одиноко, в стороне, в темно-синем платье, которое к ней чрезвычайно шло, гордая и холодная, как королева. Я заметил, что она была очень бледна, и эта бледность, озаренная огромными черными глазами, делала ее лицо неотразимо эффектным.

При моем появлении произошло общее движение. Грузинские княгини плавно, как статуи, приведенные в движение скрытым механизмом, повернулись в мою сторону и на мой поклон ответили церемонным наклоном головы. Нина Евстафьевна отняла от глаз платок и уставила на меня свои черные глаза, засверкавшие болезненным, фосфорическим блеском. Эти глаза красноречивее всяких слов говорили, что их обладательница преисполнена любовью ко мне. Бедная княжна! Но что же делать, жизнь — битва и слабые должны падать, как пожелтевшие листья с дерева во время грозы. Не я это выдумал, и если искать виновника, то надо адресоваться к Хозяину этого печального <мира>. Я, доктор Кандинский, может быть, оттого так и зол, что слишком глубоко чувствую жестокость неумолимого Неизвестного, волей которого мир обращается в арену борьбы и страданий и зеленеющие его поля — в кладбища. Понимая жестокость жизни, я нахожу обидным и глупым иметь нежнолюбивые чувства. К чему они, когда Рок так жесток? Свои мысли я стараюсь вознести до холодного разума Того, кто создал эти страшные законы жизни и свои чувства охлаждаю закаленной волей. Мне кажется — я только логичен. И все-

таким повторяю: бедная княжна! Смерть брата на нее видимо подействовала. Ее лицо, окруженное кудрями черных волос, было теперь прозрачно-бледным и казалось призрачным, как у видения, и я невольно подумал, что она будет прелестна в гробу, обложенная розовыми венками.

Посреди общего молчания раздался чей-то злобный хохот. В ту же минуту я увидел князя, который шел ко мне с лицом, нервно смеющимся, и с глазами, полными слез.

Он не подал мне руки и вместо этого начал быстро ходить мимо меня взад и вперед, не спуская с меня глаз. Посинелые губы его сложились в злобно-печальную улыбку и моментами из горла вырывались короткие, отрывистые звуки:

— Маг и чародей! Черт побери!.. Конечно, я глуп, что поверил вам и отдал своего сына на медицинское истерзание, но вы... все вы разбойники, а вы еще вдобавок и коновал...

— Папа, папочка!.. — раздался тоненький, надтреснутый голос Нины Евстафьевны. Подойдя к нему, она охватила своими беленькими руками его шею и начала что-то быстро говорить на непонятном мне языке. Я догадался, что она старалась оправдать меня и внушить ему необходимость более приличного обращения с доктором. Я почувствовал что-то вроде благодарности к своему адвокату и сейчас же с досадой подумал, что логика требует, чтобы и это чувство не имело никакого места в моей душе. Между тем, княжна, грациозно взбрасывая руки в мою сторону, добрым голосом сказала, уже по-русски:

— Благодаря только этому милому доброму доктору я так поправилась, папа. Вы же сами это говорили не раз.

— Одна ты у меня осталась, одна.

Он плакал.

Надо было положить этому конец. Я ступил шага два и, среди наступившей тишины, проговорил твердым властным голосом. Я чувствовал в себе что-то дерзкое, самоуверенное, доходящее до крайности. Мой голос мне самому показался звенящим, как металлическая струна.

— Ваш сын был на пути полного выздоровления и в по-

следнее время я перестал даже сомневаться, что он будет ходить. Что такое произошло в мое отсутствие, я не знаю, и потому прошу вас удержаться от всяких вспышек, пока я не узнаю причины его неожиданной смерти.

И, гордо подняв голову, я быстро направился в комнату, где находился мой бывший пациент. Проходя мимо княгини Тамары, я не удержался, чтобы не взглянуть на нее, и на мгновение наши глаза встретились. Она смотрела на меня прямо в упор, расширив свои большие глаза, в которых теперь не было прежнего блеска. Выражение их меня поразило, и хотя я не могу понять, что им придавало это выражение, но мне показалось, что с глубины их как бы что-то говорило: убийца. Как я сказал, она была очень бледна, но кроме этого, в ее лице произошла какая-то неуловимая перемена, которая менее понималась, нежели чувствовалась, — точно на нее легла какая-то тень. Уже много спустя, когда жизнь умудрила меня и когда я потерял веру в свой ум и с этим сделался умнее, я узнал, что этот неуловимый отпечаток ложится на лицо всякого человека после совершения им убийства. Печать первого убийцы Каина перебегает на лицо всякого, кто только следует ему, хотя объяснить, в чем она заключается — я решительно затрудняюсь.

Войдя в знакомую мне комнату, я взглянул на покойника. Он лежал, вытянувшись, и кто-то успел уже сложить на его груди руки, но в его изжелта-бледном лице с открытыми, подернутыми пленкой глазами было какое-то значительное выражение, какого оно никогда не имело при жизни, — отпечаток какого-то величавого спокойствия и как бы уразумение истины, что прошедшая жизнь была горькая шутка. И это меня тоже поразило, и я во второй раз ощутил сомнение в правильности своих гордых мыслей и как бы жалость к себе: еще так недавно я был человеком, в душе которого не было сознания тяжелого убийства, и перестал им быть от этой минуты и навсегда. Я чувствовал, что вступил в какой-то заколдованный лес мыслей, откуда нет возврата, и это понимание невозможности вернуться назад снова наполнило меня чувством отчаянной смелости и прежней гордой волей.

Увидев, как я и ожидал, конечно, на лице мертвеца признаки отравления, я стал беспокойно перебегать глазами по окнам и столикам: во мне был страх, что я не отыщу необходимых для восстановления моей репутации медика склянок, и <я> почувствовал большое облегчение, когда наконец их увидел — две одинаковые склянки. Держа их в вытянутых вперед руках, я быстро вошел в комнату со смелым и негодующим видом. Все взоры уставились на меня с любопытством и, как мне показалось, ожиданием чего-то необыкновенного. Я в свой очередь, не спуская глаз с лица князя, проговорил твердо и торжественно:

— Князь, произошла печальная случайность. Я вынужден путем печати констатировать прискорбный факт отравления вашего сына сулемой...

Произошло общее движение, а князь воскликнул:

— Что вы говорите!.. Отравили моего сына!.. Кто отравил?!..

— Не волнуйтесь, мы скоро узнаем истину. Велите позвать старуху, которая ухаживала за больным.

Через минуту вошла старуха-грузинка и, остановившись, уставила на меня заплаканные злые глаза.

— Она никогда меня вполне не понимала и потому, прошу задайте ей следующий вопрос по-грузински: вот две склянки — из какой она давала пить больному по чайной ложке?

Князь стал переводить ей мой вопрос страшно волнуемым голосом, причем я видел, что им все более овладевает вспыльчивость.

Грузинка с полным недоверием начала рассматривать обе склянки, видимо, не зная, что ей сказать.

— Да она не знает, старая чертовка!.. — пронзительно громко вскричал старик, вспыльчиво затопав на месте ногами.

— Позвольте, князь, — спокойно остановил я его, — я вам считаю нужным выяснить, как это должно было произойти: вот эта склянка с сильным ядом, выписанная по рецепту прежнего вашего доктора Тер-Обреновича, по две капли в день. Это другое — совершенно невинное — выписанное

мной. Как вы, может быть, заметили, старое лекарство всегда стояло на окне, и я очень ясно растолковал старухе, указывая на мою сигнатурку, что мое будет стоять на столике. Дряхлая старуха все перепутала и начала поить вашего сына сильным ядом.

Все глаза грузинских дам, сверкая, как угли, уставились на старуху, лица сделались злыми и все одновременно послали по ее адресу ругательства, что-то вроде «анафемы» или «чертовки». Старый князь, бледный, как мертвец, в припадке ярости закричал, заглушая другие голоса:

— Старая ведьма — ты отравила моего сына!.. Вон из моего дома... Я убью тебя!... Убью, убью!..

На старческое пергаментное лицо «ведьмы» посыпались пощечины и руки княгинь протянулись к ее белым волосам и начали их рвать. Я отвернулся с отвращением, подумав, что грузинские дамы сильно напоминают готтенток или каких-нибудь других диких дам, переряженных в черные платья.

Пока бесновался князь, я тихо разговаривал с Ниной Евстафьевной, которая умоляла меня не сердиться и не оставлять ее — «бедное, слабенькое создание».

Воспользовавшись минутой, когда она от меня отошла, я подошел к княгине Тамаре, безучастно стоявшей у окна.

— Как мне жаль моего бедного пасынка, — сказала она с видом, полным невинности и, не спуская с меня глаз, начала играть часовой цепочкой. На губах ее в это время я подметил коварную тонкую улыбку.

Положительно, меня злило такое притворство моей престестной союзницы. Я почувствовал сильнейшую досаду и в то же время непреодолимое влечение к ней. «Ты, ты своей рукой подменила мой целебный нектар на яд и теперь смеешь лицемерить».

— Да, очень прискорбная случайность, княгиня, — отвечал я с таким же искусством лицемерия, как и она. — Очень грустная случайность, которая меня вдвойне огорчает, как человека и как медика.

Действие моих слов не замедлило сейчас же обнаружиться: глаза княгини удивленно расширились, щеки заалели

румянцем досады и по губам прошла очаровательная гримаса.

— Я знаю, что вы глубоко огорчены, Тамара Георгиевна, и это так естественно: вы связаны брачным венцом с князем и, как ни тяжелы ваши цепи, вы будете носить их до могилы с любовью.

— Вы мучаете меня, Георгий Константинович, и не создаете, что такие слова для меня горящее пламя, которое вы бросаете в мое сердце. Да, я буду носить эти цепи до могилы... его... Довольны ли вы? Уйдите, на нас смотрят...

Она чуть слышно произнесла последние слова дрожащим голосом, с трудом переводя дыхание, видимо терзаясь сознанием, что ответственность за совершенное преступление падает также и на нее. Ее душа находилась в страшном смятении, но я полагаю, чем сильнее она сознавала свое падение, тем менее была способна выносить прежние условия жизни. Ее ненависть к мужу и ее дочери непременно должна была возрастать — это обязательный закон, и все это я взвешивал и комбинировал задолго до рокового дня. С другой стороны, я допускаю, что ко мне она могла почувствовать ужас, и ее страстные чувства к моей особе могли охладиться до нуля под влиянием страха; в то же время, я был вполне убежден, что жить «с камнем в душе», не делаясь своими чувствами и ужасами со мной, своим руководителем, она решительно не могла, то есть она не могла бы выдержать гнета сознания убийства, ее непременно подталкивала бы внутренняя сила ко мне, излить предо мной свои жалобы, упреки, страдания: на то она и женщина. В конце концов, она бросится в мои объятия с раскрытыми глазами, как бросаются в пропасть. Что нас ожидало на дне этой пропасти — рай или ад — не знаю, но во всяком случае, горячая обоюдная любовь, быть может, смешанная с ненавистью, то есть самое сильное чувство. Справедливость моего вывода подтвердилась в тот же день, как только я ее увидел: я почувствовал непреодолимое влечение к ней, нашу общую неразрывную связь; но ее попытка лицемерия вызвала во мне мгновенную ненависть. Это последнее чувство происходило, конечно, вследствие инстинктивного отвращения мое-

го к мысли, что я один совершил преступление, и внутреннего голоса, побуждающего меня найти оправдание своим действиям и ответственность их разделить с другим.

Между нами неожиданно стала Нина Евстафьевна. Княгиня посмотрела на нее в упор с холодной злобой и в ее губах прошла неуловимая улыбка — коварная и злая. «Прекрасно, милая княгиня, кажется, огонек злобы в вашем сердце запылал сильнее», — подумал я с радостью. В самом деле, все это очень благоприятствовало моим планам. Меня охватило чувство какой-то благодарности к ней и мне хотелось бы ее обнять и целовать в порыве этого чувства.

— Твой добрый папа, милая Нина, — проговорила моя союзница, очаровательно лицемеря, — напрасно обвиняет такого чудного доктора, как господин Кандинский. Кто же виноват? Конечно, мы: не надо было держать у себя дряхлую, выжившую из ума старуху.

— Разумеется, *maman*, — отвечала Нина с алым румянцем, разлившимся по ее лицу. — Только мне кажется, что Георгий Константинович стоит слишком высоко во всех отношениях, чтобы ваша защита могла бы не быть излишней.

— Вот как, любезный дружок Нина, — смотри, не увлекись своим добрым доктором.

Девушка при этих словах грациозно изогнулась своим тоненьким телом, точно приготавливаясь к защите и, делая насмешливый реверанс, язвительно ответила:

— *Maman*, я полагаю, что вы, по крайней мере, должны бы быть свободны от всякого подобного увлечения...

— Ниночка, что это значит?

— *Maman*, я практикуюсь в умении бросать шпильки, — ответила трепещущим голосом и с нервным дрожанием худенького тела робкая Нина.

Княгиня была бледна, как мрамор, и глаза ее помутнились.

— Что еще здесь у вас происходит? — раздался голос старого князя, неожиданно очутившегося среди нас после того, как он выгнал, наконец, «старую колдунью» из дома.

— О, папа — ничего. *Maman* горячо уверяет, что наш док-

тор не виноват, а я ответила, что он слишком высоко стоит, чтобы слова защиты были уместны...

— Все доктор и доктор!.. Одно только это слово я и слышу — вот уже три месяца скоро. Звенит в ушах этот доктор. Вы знаете ли кто — дамский доктор, — счастливейший, черт побери, человек. Ваше лицо — целая карьера... Дорогая Тамарочка, — ты что-то очень бледна. Почему же это?.. А... почему...

Он подозрительно стал смотреть на княгиню, расширив глаза, заблиставшие гневом. Ревность, видимо, успела поселиться глубоко в его сердце в виде маленькой ядовитой змейки, время от времени покусывавшей его. Я находил, что чем больше, тем, пожалуй, и лучше.

Тамара наплась.

— Удивительно, какой ты нежный отец, Евстафий Кириллович, нечего сказать. Наш сын лежит в соседней комнате мертвым, а ты, поплакав немного — для проформы, — впал снова в свое обычное шутовство, произносишь «черт» и тому подобные слова. Извини, мой друг, я глубже чувствую, чем ты, и твое замечание о моей бледности может быть уместным разве в устах такого пустого болтуна, как ты.

Она величественно отвернулась от него, но старик, очарованный ее словами и величавой красотой, схватил ее руку и, припав к ней губами, опустил на одно колено. Морщины с быстротой забегали на его лице и, обращаясь к своим грузинкам, <он> сказал:

— Какая у меня чудная жена. Ангел небесный, Тамарочка, я не стою твоего следа, который оставляют твои ножки, ступая по земле. Я стар, разум мой гаснет, чувства грубы, любил сына — потерял, но вижу тебя и чувствую, что могу утешиться... Тамара — ангел, я — старый пес. Как это хорошо... ха-ха-ха!..

Он дико рассмеялся. В лице Тамары отразилось мучительное отвращение; дамы-грузинки обменялись взглядами презрительного недоумения. Нина Евстафьевна, стоявшая рядом со мной, нервно задрожала, головка ее закачалась и она сказала чуть слышно:

— Ах, папа, папа!.. Какое унижение. Мы все привыкли к

этим нехорошим сценам — и все-таки тяжело и больно смотреть.

Тамара в это время с отвращением говорила:

— Прекрати свои гадкие выходки, старик, хотя здесь, у гроба твоего сына. Даже несчастья не могут тебя исправить...

И она быстро отошла от него.

Положительно, вмешательство древнего неумолимого Рока было бы не лишним для развязки событий в этом доме несчастий. Рока нет, что ж, я готов взять на себя его роль и выйдет, надеюсь, не хуже, нежели при развязке древних трагедий, когда вмешивалась Судьба.

Думая таким образом, я отошел с Ниной Евстафьевной в конец комнаты и там начал с ней очень дружелюбно разговаривать. Я полагаю, что мы имели трогательный вид двух нежно воркующих голубков: проходящие дамы и князь посматривали на нас нежными взорами, и видно было, что им рисовались уже венчальные венки, осеняющие наши головы. Сказать ли, однако, почему я нежен был так к княжне: мне хотелось наказать княгиню Тамару за ее лицемерное поведение в отношении меня, и надо было только взглянуть на нее, чтобы видеть, что я достиг этой цели: она стояла в отдалении, неподвижная и бледная, видимо терзаясь ревностью и досадой. Другая причина моей нежности к княжне была такая: надо было погасить в диком старике всякую мысль о моей близости с его женой, расположить всех его родственниц в свой пользу и, наконец, совершенно овладеть сердцем и мыслями хрупкой и нежной Нины. Последней цели я достиг, и в этом не было сомнения.

В этот день я скоро уехал. Когда я сошел с лестницы, прежде мной неожиданно появилась княгиня Тамара.

— Вы меня мучаете, жестокий человек. Надо сознаться, вы ведете странную игру, недостойную вас... О, это отвратительное больное создание — вы говорили с ней больше, чем со мной... Я страдаю, я жестоко страдаю... Я одинока в этом доме и испытываю такое чувство, как если бы была заключена в склеп... Что мы совершили с вами — ужас!..

Я слушал все это с самым равнодушным видом, нароч-

но не отвечая ни слова. Когда она умолкла, я поцеловал ее руку и бросился в коляску...

Все равно — она моя.

Х

В Тифлисе появились всевозможные эпидемические болезни: черная оспа, тиф, дифтерит — фаланги победосных бацилл рассыпались, разлетелись по городу с единомыслием союзных армий, задавших целью уничтожить жителей. Это подняло дух медиков и вызвало их плодотворную деятельность: больные умирали сотнями. Я был одинаково равнодушен как к бациллам, так и к людям. Мне кажется, я прав: в этом мире трудно понять что-нибудь — кого надо спасти и для кого было бы лучше, если ему предоставить отправиться в дальнее плавание — на небо. Бесконечные вереницы гробов наглядно доказывали, насколько основательна претензия человека быть каким-то царем природы. Хорош царь, когда одна армия чумных насекомых может целые страны обращать в кладбища. О небесах я не говорю: они решительно безмолвствуют и, по-видимому, ничего не имеют против уничтожения благородных человеческих жизней крошечными паразитами. Вообще, мне кажется, что природа совершенно согласна с моим мнением: только она действует, я — рассуждаю; сожалеть о человеческих существованиях решительно не представляется основательным: их много умирает и еще более родится, а многолюдие только мешает жить. Поневоле является такая странная мысль: бацилла — добрый приятель человечества вообще и в частности — докторов: последние строят себе целые дворцы на деньги, чеканящиеся на монетном дворе болезнью армией чистокровных микробов.

С утра до вечера я разъезжал по городу к своим пациентам, и самые мрачные мысли осаждали мой ум. Сомнение в своем мрачном трауре следовало по пятам за мной, заглядывая мне в лицо и насмешливо улыбаясь: ты хочешь ле-

чить — гм... во-первых, служит ли аллопатия к излечению людей или к умерщвлению — это со времен Гиппократата остается неразрешенным ребусом; во-вторых — кого ты хочешь лечить? Кого ненавидишь и кто так тебе отвратителен? Что-либо из двух: или человек порождение воли Всемогущего, а Он в твоих знаниях не нуждается и сам знает, кого умертвить и кого поднять с ложа смерти; или человек — машина, и тогда ты, безусловно, прав: он слишком ничтожен, чтобы стоило о нем заботиться.

Проходя по камерам больницы и предаваясь таким рассуждениям, я остановился около кровати больного, покрытого черной оспой. Что-то точно злобно рассмеялось во мне, как только я на него взглянул, и отвращения своего я не мог преодолеть. Мне казалось, что оно выходило из моих глаз ледяным холодом и сжимало мои губы в бледную полосу. Впрочем, больной был действительно противен. Черные прыщи покрывали все его тело, образовав на лице одну сплошную кору, из которой сочился гной. С каждым вздохом он раскрывал черную впадину вместо губ, откуда вырывался свист; голова его ворочалась по подушке вправо и влево, и с каждым таким поворотом глаза его, обведенные черной корой, на мгновение раскрывались и устремлялись на меня: в них светился упрек, и это удивительно злило меня. «Странная претензия желать, чтобы я ему помог. Убился бы он скорее в могилу». И мало того, что я так подумал, во мне шевелилось желание прописать ему такую микстуру, после которой он не мог бы уже так укоризненно-противно смотреть на меня. До сих пор такой злобы в отношении своих больных я никогда не испытывал. Дело в том, что во мне что-то изменилось, и именно после последнего дня пребывания в доме князя.

Говоря вполне искренне, в своем поступке я ничего не мог узреть, что не вытекало бы из моих общих выводов о человеке и жизни; даже более, поступок этот несколько не противоречил чувству человеколюбия, признавать уместность которого в этом мире я вовсе не был расположен. Больной страдал, тяготился жизнью и мучил окружающих, и надо быть идиотом, чтобы не согласиться, что для него самое луч-

шее обрести вечное успокоение. И вот, несмотря на всю ясность моих доводов, во мне совершилось какое-то удивительное нарушение моего прежнего внутреннего мира и обычного самодовольствия. Как будто что-то постороннее протиснулось в меня и некстати присоединило свой голос к моим гордым рассуждениям. Куда бы я ни пошел и где бы я ни был, во мне слышался как бы протест против меня самого. Мысли мои свободно развивались, как никогда, но теперь я чувствовал, что я весь во власти этих мыслей и меня что-то толкало вперед и вперед рассуждать в известном направлении. Я думал и уяснял себе до прозрачной ясности свои теории о человеке, но мои рассуждения отравлялись каким-то тревожным чувством, все более развивающейся злостью и ненавистью к людям, и я уносился все дальше, желая уничтожить в себе тревогу и победить себя. Как я ни рассуждал, но непобедимый голос шептал во мне — «ты убийца». Не желая видеть в этом слове ничего страшного, я нарочно создавал в своем воображении картины новых убийств и осмеивал свое неприятное тревожное чувство. Мне никак не удавалось осмеять это постороннее «нечто», появившееся во мне, и что-то толкало вперед — попробовать еще раз уничтожить чье-либо страдальческое существование и этим новым актом умерщвления заглушить протестующий против меня самого голос во мне. «Я его избавлю от страданий», — проходило в моем уме, и с ясностью, полной доказательности, развивались мысли в этом направлении. Скоро я стал замечать, что мои стремления вызываются не желанием уничтожить страдания больного, а этим новым для меня чувством, моей злостью, желанием найти свой утерянный покой: казалось, что я найду его, как только совершу новое, такое же невинно обставленное убийство, как первое.

Стоя перед кроватью больного, с отвращением всматриваясь в него и испытывая приливы страшной злости, я неожиданно вспомнил, что вот уже несколько дней, как, разъезжая по квартирам больных, я точно выискивал себе жертву. Это открытие меня странно поразило и меня охватил страх пред самим собой. А больной, как и прежде, пе-

реворачивал голову влево и вправо, взглядывая на меня пристально и укоризненно. Отвращение мое к нему возросло все больше, и в то же время мне страшно хотелось заглушить чувство какого-то разлада в самом себе. Было очень унижительно сознавать, что я подчиняюсь каким-то странным тревогам, наперекор всем доводам моего ума. Помимо этого, меня что-то толкало вперед и вперед...

На мгновение я впился глазами в больного, с холодным отвращением, как в свою жертву, и затем, с небрежным видом, обратился к двум сестрам милосердия:

— Однако, этому несчастному делается все хуже и мое лекарство, видимо, не помогает. Доктор Горатов так уверен в силе своего средства против оспы... Что ж, я не желаю упорствовать: сейчас же вы дадите ему Горатовской микстуры...

Я стал писать рецепт, поглядывая на больного. В его глазах читался явный укор и поднявшаяся злоба во мне подтолкнула мою руку... Как-то совсем нечаянно я вписал в рецепт большое количество белладонны и поднялся, чувствуя странное облегчение в душе.

Обойдя свое отделение и после своей проделки относясь к больным с особенным вниманием, я спустился вниз и вошел в дежурную комнату. Несколько врачей, сидя вокруг стола, горячо разговаривали о характере настоящей эпидемии. Я благосклонно вмешался в разговор и потом стал рассказывать об излюбленной микстуре Горатова.

— Как вам известно, господа, я довольно успешно лечил больных черной оспой, конечно, не в безнадежных случаях. В этих последних никакие средства не помогут. Спасет ли ваша микстура, господин Горатов — не знаю, но сейчас я прописал ее одному из безнадежных...

Горатов — огромный мужчина — сидел в углу и пристально смотрел на меня. Его неуклюжая, обросшая волосами фигура, с большим лицом, черты которого были чрезвычайно крупны, напоминала старый, обросший мхом дуб с уродливыми выпуклостями и дырами, дуб, который неуклюже двигался и дышал из большого отверстия, изображавшего рот. Это был человек странный. Он имел претензию любить ближних и потому даром лечил больных, стоиче-

ски выдерживая ненависть докторов и их насмешки. На меня он производил впечатление огромного добродушного животного, каким-то чудом уцелевшего от времен допотопных, когда существовали плиозавры и другие ископаемые животные. Дразнить его мне доставляло удовольствие, но животное это никогда не рычало, а только внимательно всматривалось в меня. Теперь, сидя в своем углу, он уставил в меня свои два светлых глаза, точно вглядывался в бездну и ужасался, видя, что она так глубока... Я отвернулся с презрением на губах, но с ненавистью и тревогой в душе.

Спустя несколько времени мы все шли по длинному темному коридору, направляясь к выходу, как навстречу нам показались два служителя, между которыми в белой простыне раскачивалась страшная ноша — мертвец. Голова мертвеца, с ниспадавшими до самого пола волосами, свесилась назад и раскачивалась влево и вправо. Я узнал своего больного и, остановившись, сказал, обратясь к Горатову:

— Представьте, как я раскаиваюсь, что, изменив своему способу лечения, хотел испробовать ваш: он действует удивительно быстро.

Все посмотрели на меня, потом со злорадством начали смотреть на Горатова, который неуклюже переступал с ноги на ногу, как мамонт, и рассмеялись.

Я нанял извозчика и поехал к себе домой.

Странно: облегчение действительно получилось. В моем воображении обе смерти — и первая, и вторая — как-то вычеркнулись. Я впал в какое-то злобно-игривое настроение и подумал, что, должно быть, и здесь следует только широко применять правило: клин выбивать клином; такое лекарство у меня всегда под рукой, благодаря обилию моих пациентов. Теперь я уже не сомневался, что одержу полную победу над собой: исключительно только я сделаюсь человеком истинно оригинальным, так как буду действовать только по начертанию холодного жестокого ума, хотя бы и он чертил одни кресты и могилы. Что ж, природа — наша мудрая мать — она тоже громоздит одни страдания и кресты. Человек — частица природы и ее создание: интересно

знать, откуда это у сына жестокой матери могло явиться сердце, полное даром неба — любви. На самом деле, зло, преступление и любовь — фантазия. Совесть преследует только глупцов, и это лишняя струна в ходячем органе, именующем человек. Оборвите нерв совести и каждый из нас сделается так же нечувствителен к ее укорам, как какой-нибудь Баязет, которому целые армии мертвецов нисколько не мешали спать в полное свое удовольствие. Самые сильные люди прекратили всякое знакомство с бледным призраком — совестью. Сулла, чтобы усладить минуты своей предсмертной агонии, приказал своего врага зарезать на своих глазах. Это опровергает общее мнение, по которому совесть, в последние минуты жизни грешника, обязательно должна явиться к нему с прощальным визитом. Для меня визит такой неприятной особы был бы по меньшей мере нежелателен.

Всю дорогу я был в каком-то игриво-зломном настроении. Мысли мои меня раздражали, не причиняя боли, как бесчисленные уколы ядовитых паучков, возбуждающих нервную веселость. Я смутно понимал, что мысли мои лишены глубины и отгонял от себя это понимание: оно меня тревожило и критическое отношение к ним лишило бы меня хорошего настроения духа. Я отгонял от себя ясное понимание с инстинктивным отвращением.

На небе заискрились звезды и всплыла луна, когда фаэтон остановился у крыльца моей квартиры. Быстро пройдя по лестнице и бросив на ходу своему лакею-имеретину пальто, я пошел по слабо освещенным комнатам в свой кабинет. Лунное сияние заливало мой любимый уголок янтарным светом, переливаясь на белых черепах скелетов и придавая им вид призраков, улыбающихся страшной костяной улыбкой. Вообще, луна придает всем предметам что-то призрачное и таинственное. Я не люблю ее за ее расслабляющее влияние на меня. Она мой враг потому, что лишает меня обычной смелости моего ума. При луне я не думаю, а скорее выкрикиваю извлекаемые с глубины души какие-то серенады.

Идя по кабинету, я вдруг остановился: мне показалось,

что в конце его поднялась высокая женская фигура. Момент спустя, она плавно пошла ко мне и в лунном сиянии пред мною обрисовалось бледное как мрамор, гордое лицо, окруженное венцом черных волос. Меня охватила радость с такой силой, что я пошел к ней навстречу с распростертыми руками. Положительно, никогда раньше в моей жизни мной не овладевали чувства с такой захватывающей властью. Точно в этой женщине я внезапно увидел воплотившийся ад моих мыслей, но в красоте райского ангела. Кто не согласится, что такое соединение — самое редкое в этом мире и способное пленить хоть кого.

— Тамара, вы моя путеводная земная звездочка, которая освещает и согревает меня одновременно. Без вас мне холодно и неловко.

Я сказал это не без легкой иронии, охватил ее стан руками и привлек к себе. Ее лицо стало предо мной в лунном сиянии, как призрак, голова ее склонилась ко мне и наши губы слились в долгом и жгучем поцелуе.

Странное блаженство я испытывал в эти мгновения; мне казалось, что в горячем поцелуе сливались воедино две грешные души. Это был союз на взаимное согласие греха и наслаждений; без нее мне было холодно и неловко и ей без меня страшно; вдвоем мы ощущали радость любви, которая удивительно утончалась сознанием общности наших грешных целей.

Вдруг она отшатнулась от меня и, отбежав к окну, вытянула перед собой руки, как бы защищаясь.

— Кандинский... мы должны объясниться... Позвольте... Я измучилась, ожидая вас. Этот дом стал для меня невыносимым. Мое воображение рисует мне всякие ужасы...

— Какие, княгиня?

Она испуганно посмотрела на меня и видимо сделала усилие овладеть собой.

— Это так странно, — вообразите, иногда мне кажется, что мертвец подымается из гроба в своем саване и ходит за мной. Все это очень глупо... ведь не я доктор и я не лечила его... Я рвалась к вам каждый день, потому что мне страшно без вас.

«Поймалась, голубушка, поймалась... Теперь ты будешь ходить за мной, как моя тень, как мой двойник», — думал я в это время со злобной радостью, любуясь в тоже время ее чудным лицом, чарующими глазами, которые в сиянии луны казались удивительно большими и которые, поминутно испуганно расширяясь, пугливо перебегали по комнате.

— Кроме того, вообразите, Кандинский, это большое создание, моя падчерица, стала держать себя очень странно в отношении меня. Она так на меня смотрит, точно проникает в душу и я чувствую, что за это одно я способна ее возненавидеть... Иногда она улыбается странной улыбкой; когда заговорит, то выражается убийственными загадками... Эта по виду невинная девушка — в сущности, ядовитейшая особа. Иногда я перестаю понимать: в аду я или на земле.

Не знаю почему, но все эти слова вносили в мою душу странную приятность. Я чувствовал, что нашел свое второе «я» в образе прелестной женщины; я испытывал желание обнять ее и унести с ней. Ее вид меня восхищал не менее слов: казалось, она вырастала с каждой фразой и ее голос начинал звенеть, как струна, выдавая бурю ее сердца.

Я с трудом скрывал свою радость, но мне хотелось помучить ее, а главное, заставить признаться в активном участии в преступлении.

— Княгиня, знаете ли, кто такие мы с вами? Я вам скажу. Может быть, вы себя обманываете и не совсем сознаете, в кого мы превратились, перешагнув через этот труп — мы...

И я шепотом, но выразительно сказал:

— Убийцы.

Я снова это повторил, еще и еще, находя в этом особенно тонкое удовольствие. Что это значило? Не раздумывая об этом, я чувствовал, что перестал себя понимать и что теперь я уже не прежний, бесстрастно-холодный ультрареалист Кандинский.

Она стояла недвижно, точно прикованная к стене, а я вился около нее, точно злой дух, и из уст моих срывалось:

— Вы и я — я и вы — убийцы.

— Что с вами? Почему вы все повторяете это слово?.. Я

вас боюсь...

Ужас засверкал в глазах ее и она шагнула к двери.

— Сделайте одолжение, — проговорил я с ледяным спокойствием, давая ей дорогу к двери.

— Кандинский, как вы можете так легко со мной расставаться!

— Княгиня, я решаю быстро самые роковые вопросы: бросить вас в бездну или броситься самому — для меня дело одного движения или слова. Вы знаете, что в моих глазах жизнь такой пустяк, который не заслуживает труда сожалеть о нем или раздумывать.

Я был совершенно искренен, говоря это, и с решительностью направился к двери.

Тамара порывистыми большими шагами подошла ко мне.

— Кандинский, вы меня очаровываете... Такой характер удивительное явление в наше время. Но вы не напрасно заговорили о бездне. Кажется, мы оба бросаемся в нее.

— Ну что ж, если нет небес и там вверху один холодный эфир, то нет и бездны, нет добродетели и нет преступлений. Порок предполагает Судию, но кто в него верит в наше время? Все наши кумиры разбиты и лежат, покрытые мусором и пылью. Их раздробил не молот, а человеческая мысль, и моя разбивает последних шатающихся идолов нашего времени. Ужас перед пролитием крови — просто ребячество. Вы — ребенок, напуганный рассказами старух о привидениях, их нет, как нет ни добра, ни зла.

— Кандинский, как это вы говорите с холодной улыбкой такие страшные слова, да еще в этой ужасной комнате? Мне кажется — эти белые черепа улыбаются, слушая нас...

Ее глаза пугливо уставились на череп, на который лилось лунное сияние.

— Это только кажется; но я не знаю, Тамара, почему вы очутились именно в этой комнате, когда есть гостиная.

— Я там сидела и из любопытства вошла сюда.

— Позвольте мне окончить: я высказал вам свой образ мыслей довольно ясно; но знаю, что вы женщина и едва ли поймете меня. Вы никогда со мной не согласитесь.

Ее глаза светились странно и загадочно и на губах мельк-

нула тонкая улыбка.

— Не знаю... все-таки, хотя я и женщина, но не буду отрицать, что ваша теория отличается большими практическими удобствами в некоторых случаях жизни.

Я продолжал:

— Никогда не поймете. Вы добродетельная мать и жена. В своих обязанностях вы найдете святую отраду и вознаграждение за то, что в течение жизни вам придется на себя возлагать тяжелый крест святого долга матери и супруги. Расстанемся.

Ее лицо озарилось злой улыбкой.

— Увы, я полагаю, поздно говорить об этом: мы не можем расторгнуть наши цепи...

— Цепи!.. — воскликнул я с тонкой радостью и, задаваясь целью вырвать у нее признание в подмене лекарств, вкрадчиво добавил:

— Какие же это цепи, Тамара Георгиевна?

— Какой вы странный!.. — воскликнула она с выражением испуга в лице. — Вы сами прекрасно знаете, о чем я говорю. Да разумеется же, цепи... цепи... любви.

Она шепотом проговорила это, в то время как в глазах ее явно светился обман.

— Ах, вот как! Но мне кажется, прежде чем раскрыть дверь в царство свободы, необходимо разрушить другие цепи, наложенные на вас положением мачехи и жены; мне кажется также, что одно из звеньев этой цепи вы уже и разбили своей собственной хорошенькой ручкой.

Она содрогнулась, но, видимо делая усилие овладеть собой, с наружным спокойствием коварно проговорила:

— Своей рукой я разбила одно звено какой-то цепи?!

Она искусственно рассмеялась.

— Пожалуйста, милый мой доктор, вникните хорошенько в эти слова и никогда не повторяйте их больше. Вообще, вы бесконечно изумляете меня сегодня, повторяя какие-то страшные слова по несколько раз и повергая меня в безграничное изумление. Зачем вы меня пугаете? Если вы полагаете, что я недостаточно была проникнута скорбью при виде своего мертвого пасынка, то вы очень ошибаетесь: мне

искренне было жаль бедного мальчика, но что же делать, если лекарства перепутала старуха, как вы сами торжественно заявили об этом?

Воцарилось молчание. Тамара была бледна, но казалась невозмутимо спокойной, и только по ее губам перебежала неуловимая коварная улыбка.

— Позвольте, я сяду, — сказала она, опустилась на стул, зажгла свечу, и, неожиданно приблизив ее ко мне, внимательно посмотрела на меня.

«А, вот как, вот как!..» — подумал я, в то время как острая злоба зашевелилась в душе моей. В эти минуты я ее не навидел.

— Конечно, мне ничего не остается добавить к вашим прекрасным словам, кроме разве одного: вы истинная супруга и примерно-добродетельная мать.

Я бросил ей эти слова, точно удар хлыста, и как от удара чего-то острого она вздрогнула и внимательно стала смотреть на меня. В глазах ее, казалось, светилась мольба и как бы слова: «Ну к чему это? к чему? ведь ты знаешь, что тебе делать».

Вдруг она поднялась, подошла ко мне и, горячо поцеловав меня в губы, точно желая зажечь во мне решимость осуществить все ее скрытые желания, отошла на прежнее место и тихо, выразительно сказала:

— Я не мать, а мачеха.

Последнее слово было произнесено с особенным ударением и выразительностью в лице.

Порыв ее неожиданной нежности разогнал мою злобу, но меня что-то подбивало помучить ее, и я сказал:

— Наше положение невыносимо, милая княгиня; я не вижу никакой возможности разбить цепи, перевитые розами добродетели и материнской любовью.

По губам ее прошла судорожная гримаска, но, немного спустя, она очень тихо, загадочно произнесла:

— Вы умеете все понимать, а требовать от меня страшных слов не надо. Я только слабая женщина. Мужчина смеет много и может много.

— Чего же именно?

— Вы знаете.

— Значит, я должен продолжать сбрасывать камни, мешающие нам?

Над ее глазами полуопустились длинные черные ресницы с таким выражением, точно отвечая мне: «да», в то время как на губах зазмеилась коварная усмешка.

— Хорошо, я снисхожу к вашей женской слабости и не приподымаю перед вами красное пугало, называемое смертью; но, Тамара, ваш муж человек хороший и добрый, и, быть может, вы хотите, чтобы он жил долго, как Мафусаил.

Она нервно рассмеялась и лицо ее сделалось злым.

— Какой вы колкий, Георгий Константинович; вы насколько не щадите меня. Я вам тысячу раз повторяла, что, выйдя за него, я сделала страшный шаг и с тех пор каюсь и каюсь без конца. Конечно, если он будет жить, то пускай живет; но говорю вам совершенно откровенно, если бы так случилось, что бесчисленные болезни, кроющиеся в его хилом организме, поднялись бы в нем с удвоенной силой и, засушив его руки и ноги, приковали бы его к постели, то я смотрела бы на него совершенно сухими глазами.

— Неужели? — вкрадчиво и лукаво сказал я, испытывая радость в душе и какое-то острое злобное чувство.

— Высказалась я совершенно ясно, и вы можете быть уверены, что если ваше лечение воскресит эти скелеты и мумии, то я, конечно, скажу: слава Богу, но в то же время вы не можете не понимать, что я всю жизнь буду глубоко несчастна.

Я долго смотрел на нее и рассмеялся.

— Какой вы тонкий дипломат, Тамара, да вы совершенный дипломат.

— Да, да мой голубчик, если на моей совести и есть что-нибудь, то зачем это высказывать? Я только женщина, вы — совсем другое дело: вы бесстрашны, точно закованы в железо, и вас ничто не страшит. Идти за таким сильным человеком так приятно одинокой, слабой женщине.

Слушая ее, я не замечал тоненьких сетей, которыми она опутывала маленького божка в моей груди, называемого

самообожанием: мне было так приятно ловить из ее хорошеньких уст эхо моего собственного мнения о своей особе и в особенности о том, что я человек с железной волей.

— Хорошо, Тамара, но меня смущает одно: ваша падчерица славная девушка и я боюсь, что вам жаль ее...

— Жаль ее!..

Она внезапно поднялась с места и в черных глазах ее вспыхнуло пламя.

— Я уже вам говорила, что после последнего печального события она стала совершенно невозможной. Она так смотрит на меня, точно на дне души моей видит что-то, и смотрит с тихой улыбкой, какой-то странной и удивительно печальной. Знаете ли, если бы из ее глаз исходили молнии и жгли мое сердце, мне было бы легче, нежели этот невыносимый свет...

«Ага, тебя мучает совесть! Подожди, то ли еще будет. Ты моя, моя, положительно моя»... — думал я в это время и стал делать вокруг нее маленькие шажки, точно злой дух, обводящий свой жертву волшебным кругом.

— Что с вами? — воскликнула она в испуге, пораженная выражением моего лица.

— Ничего, — проговорил я, овладев собой.

— Я содрогаюсь от ее взоров и знаете ли, мгновениями меня охватывают настоящие порывы ненависти...

— Как, вы можете ненавидеть, вы — вы!..

— Вы меня не понимаете. Мне просто хочется засмеяться ей в лицо и высказать ей, как она глупа... О, клянусь вам, не Богом, конечно — вы отрицаете Его, и я полагаю — знать, что там есть Судия — как это страшно теперь...

— Правда, да, да — страшно.

— Клянусь этими звездами, луной, что смотрит на наш мир — до похорон бедного мальчика я не чувствовала себя в таком смятении... Ты поднял бурю в душе моей и потом эта смерть бурю эту превратила в пламя и мой мозг и сердце охвачены им. Как это странно, право: мне все кажется, что если бы дочь моего мужа не имела возможности смотреть на меня так укоризненно-печально, мои тревоги совершенно оставили бы меня... Я убеждена, совершенно убеж-

дена в необходимости идти вперед...

— По трупам, — спокойно подсказал я.

Она испуганно поднялась и в страшном волнении отошла к двери.

— Вы меня пугаете! И я не понимаю вас, совсем не понимаю.

В ее губах стал заметен судорожный смех и она, не отрываясь, стала смотреть на меня. Признаться, я никак не ожидал, чтобы она была способна на такие сильные душевные движения. Флейта зазвенела слишком сильно от легкого дуновения в нее — и больше ничего. Слушая ее речи, я ощущал приступы искреннего восторга. Теперь я не только любил ее, я ее обожал, чувствуя, что жребий наш будет один, судьба нас сковала и призраки преступлений погонят нас вдвоем по дороге жизни. Я чувствовал странную торжественность в душе и что-то подтолкнуло меня поступить совсем необычайно. Я опустился на одно колено и, целуя ее руку, тихо проговорил:

— Тамара, я тебя подтолкнул на это, но на одного себя беру все грехи. Я презираю людей и во мне много страшного, но я обожаю тебя и если бы мог, то для тебя готов был бы наполнить мертвецами хотя весь мир...

Это была дикая фраза, но я, холодный Кандинский, все-таки выговорил ее.

— О, нет — нет!.. За твою любовь я тебе отвечаю одним словом: я твоя, и одним движением — вот таким...

Она обвила мою шею руками. Целуя ее и обнимая, моментами я откидывал ее голову и любовался ею. Она смеялась чудным смехом, раскрывая красные губы, сверкая белой полоской зубов и глядя на меня глазами преступницы, чувствующей, что с отчаянным весельем летит в бездну. Если мы действительно летели в бездну, то, я полагаю, что этот процесс более усладителен, нежели воздымание к небесам, конечно, не в буквальном, а в переносном смысле. Я не завидую ангелам. Они должны испытывать страшную скуку, потому что добродетель есть нечто неподвижное; сковывающее воображение и всюду образующее преграды свободной воле. В поэзии много демонов, но ангелы отсутст-

вуют, и это понятно: им никто не хочет подражать.

— Ты мой бесстрашный — я тебя люблю. В твоём присутствии я делаюсь смела, как ты. С тобой мне легко, я готова смеяться над всем миром... Люди очень глупы и трусливы, ты один смел и велик. У тебя львиный дух.

Она прильнула к моему лицу, изгибаясь гибким телом, как змея.

— Ты меня не спрашиваешь, как я сюда попала... О, я истерзалась, поджидая тебя, и уехала, объявив, что еду к родным; но это — рискованный шаг... Теперь мне пора... Слушай... я уговорю старика послать тебе письмо и уверю его, что без тебя его дочери гораздо хуже — ведь он мне верит, и мое лицемерие повергает его в восторг... Смотри, ухаживай за ней, это необходимо, и влечи ее...

— Я тебя не пущу и ты останешься у меня.

— Нет, ты меняпустишь, непременнопустишь. Остаться здесь — значит погубить все дело. Я сейчас еду... Зато потом, потом... Я устрою тебе сюрприз, какого ты не ожидаешь. Ах, да, мне предстоит еще работа: достать у старика завещание, по которому все его богатство перешло бы ко мне...

— Ну, это тебе не удастся...

— Непременноудастся: он теряет последний свой ум, как только я начинаю лицемерно ласкать его...

Она засмеялась странным смехом. Мне не совсем нравился этот смех: в нем слышалось что-то отчаянное. Ее, видимо, пугали призраки преступлений. Надо было укрепить ее волю. Я зажег свечи, подвел ее к моделям внутренностей человека и начал ей выяснять свою теорию. Я ясно ей доказал, что человек машина, не более, что поэтому преступление просто предрассудок. Она слушала меня сначала с изумлением, потом с радостью.

— Твои слова действуют на меня, как вино: опьяняют и дают мужество. Теперь я ничего не боюсь. Дай мне кинжал и ты увидишь, на что я способна. Ведь я черкешенка.

Ее лицо изменилось: губы стиснулись в выражение затаенной мстительности и из черных глаз полилось пламя. Я был несколько поражен ее видом и напрасно: женщина,

вступившая на путь, бывает ужасна и обыкновенно опережает мужчину.

Немного спустя она прощалась со мной и, лаская меня и целуя, нашептывала мне самые соблазнительные картины. Когда она уходила, мне казалось, что от меня оторвалось что-то чудное, сияющее, что вселяло в мой холодный дух жажду жизни и счастья. Я остался один, и мое сердце сжалось болезненно и тоскливо.

XI

— Бога ради, любезный доктор, займитесь хорошенько моей бедняжкой Ниной. Мой сын лежит в земле — пускай она еще походит по зеленым садикам под липками. Жрецы Эскулапа не все поголовно бессердечные... негодяи... я, по крайней мере, хочу верить, что вы не только врач, а немножечко и человек, в своем роде хороший, в своем роде дурной, как я да еще миллионы других людей. Что от нас, простой глины, требовать... ха-ха-ха!.. Достаточно, если мы настолько хороши, что, ограбив человека, скажем: «Господи, помилуй». Впрочем, все мы мерзавцы, кроме вас да меня, — ха-ха-ха!.. Боюсь, что мою бедняжечку ждет плохой конец... все она играет на мандолине, все поет какую-то грустную песенку, все говорит про вас да вспоминает мертвенького... Под землей он лежит, под землей; но вы не смущайтесь, ваши лекарства действовали на него прекрасно... Что делать? Прогнал я старую каргу в шею, прогнал. Лечите бедняжечку, мою дочь... Откровенно вам сказать — она к вам не совсем равнодушна. Заплатите ей за это хотя одним — вниманием к ней. Есть случаи, когда у каждого человека проявляется совесть, хотя все мы мерзавцы, и первый из них — я. Негодяй я, негодяй! Правда, моя Тamarочка?

Говоря все эти странные фразы и стоя на террасе у лестницы, рядом с своей или, вернее, моей княгиней, которая слушала его с тонкой улыбкой, с потупленными взорами, старик поминутно громко хохотал смехом, в котором слы-

шалась горечь; а при последнем восклицании он охватил рукой стан княгини и стал целовать ее в плечо. Он был на целую голову ниже ее, по лицу его перебегали бесчисленные морщины и в общем он имел вид похотливого сатира, увидавшего около величавой богини. Так как она молчала, то он снова повторил:

— Негодай я! И старик, старик, недостойный сокровища, которым обладаю. Моя Тamarочка, моя черкешенка, моя звездочка небесная!..

— К счастью, несмотря на все твои уверения, Евстафий Кириллович, что ты негодяй, я отрицаю это, энергически отрицаю. Иначе сознание такой истины повергало бы меня в глухое отчаяние и отравило бы мою жизнь.

Она подняла на меня свои опущенные долу взоры и посмотрела с неизъяснимым лукавством.

— Все таки я стар, стар... ты меня ласкаешь из сострадания, не по страсти. Умру я, умру... Все тебе отдам... ведь я похитил тебя, твое молодое тело... все отдам и завещание напишу, как ты требуешь... А за все это — люби меня, пока я жив... Или притворись — целуй меня, старого...

— Стыдись, Евстафий, у тебя в мыслях только греховная любовь да поцелуй, и святая нежность к детям далека от твоего сердца. Плохо нашей бедняжке Нине, и она очень тревожит меня. Добрый Георгий Константинович, отыщите ее и утешьте нашего ангела; идите прямо на звуки мандолины и вы найдете ее... будьте с нею нежны, ведь она вас любит, бедняжка.

— Ну- ну, пойдем, мое сердце, не тревожь себя...

Семена ногами и улыбаясь, старик повел было свою княгиню в глубину балкона, но она приостановилась и подала мне руку.

— Пожалуйста же, доктор...

Я почувствовал записку в своей руке и сошел вниз. До моего слуха донесся взволнованный голос князя:

— Как ты на него смотрела!.. Не люблю я этого доктора. Ты на него смотрела.

— Вам все только кажется.

— Я его готов разорвать!.. Когда ты на него смотришь, во мне — ад... Дай прежде лечь в гроб и потом люби кого хочешь и дели мое богатство. Бессилен я с тобой...

Я пошел по аллее. Чуть слышные звуки струн — нежные и мелодические — нарушали безмолвие сада. Солнце опускалось и золотистые лучи потянулись по деревьям, точно тончайшие золотые волосы скрытого в небе божества, которое, в порыве сердечной нежности, оплело ими землю и меланхолические задумчивые деревья.

Я быстро пошел на звон струн. Звуки делались все громче, и я испытывал странное ощущение: точно в глубине моего существа рыдал какой-то кроткий, опечаленный ангел, разбивая мою волю, маня меня к миру и любви и крича: «Будь добрым, будь добрым». Вот и понимаете после этого человека. Я, такой положительный, холодный практик, отвергающий всякую чувствительность и готовый вскрыть атомическим ножом хотя все человечество, если бы оно обладало одним общим туловищем, — я впадаю в странное, почти болезненно-чувствительное настроение и почему? Больная девушка тоненькими больными пальчиками перебирает по струнам какой-то деревяшки; деревяшка пищит, охает, и писк этот вызывает страдание, печаль во мне, какие-то порывы воспарить над землей и делает меня почти ненормальным.

Как хотите, я нахожу это обидным для нашего сознания. Добро бы это были отзвуки небес, как это могут думать, положим, молящиеся католики, дух которых, под влиянием органа, уносится, как им кажется, чуть не прямо в рай, к херувимам. Но ведь я знаю, в чем тут штука. Все объяснение в нервах, в том, что человек — ходячий орган и музыка затрагивает его собственные бесчисленные струны; но, так как люди не думают о скрытом в них механизме, то человечество впадает в колоссальный самообман: людей можно увлечь к небу, в преисподнюю, на бойню, и они с увлечением маршируют, как козлы и овцы, на звуки волынки. Как бы ни было, а сознавать это обидно, и теперь я особенно ясно понимал свое право поступать согласно доводам холодного ума. Я выделяю себя одного из всего человечества.

ва, которое презираю от души; и, несмотря на это, я не мог пересилить себя: не испытывать действия звуков инструмента. Они раздавались все громче, появляясь точно из-под земли — охали, рыдали, ныли, и вне казалось, что сама печальная музыкантша томно вдыхает и шепчет мне: «Ты злой, злой — хочешь убить меня. За что? вина моя одна: я тебя люблю, люблю, люблю»... а струна откликалась, точно из бездны: дзинь-дзинь. «Будь добрым, добрым... Ты в заблуждении находишься и твой ум — холодная бездна, в которой ты сам пропадешь» — дзинь-дзинь! «Пропадешь, пропадешь, не верь себе» — дзинь-дзинь! «Твои идеи — лес: ты заблудился, мне жаль тебя, жаль, жаль» — дзинь-дзинь!

Я чувствовал себя преотвратительно и начинал сомневаться: не галлюцинирую ли я, и сомневаться в силе своей воли; в то же время, меня подавляла такая грусть, точно в моем сердце медленно оборачивалась холодная змея, холодя мои внутренности. Я не хотел дальше идти и опустился на камень. И вдруг мне представился мертвец в том положении, в каком я его видел на постели; на одно мгновение меня охватило глубокое отчаяние; я почувствовал себя как бы в бездне, в обществе с Каинами-убийцами; но это продолжалось мгновение, не более: казалось, змея, которая до этого времени холодила меня, сделала последний, мучительный для меня оборот, вытянулась во мне головой к моему горлу и шепнула: «Мой брат по гордости ума, встань сильным, как я». Я поднялся гордым, сильным и злым. О чем тут раздумывать — ведь я перешел Рубикон, отделяющий обыкновенных смертных от убийц, и нахожусь в бездне, из которой возврата нет. Все мои идеи мне снова показались прекрасными и величавыми, как огромное, холодное здание, которое я сам воздвиг и среди которого я царь. Меня потянуло к злодействам и одновременно с этим к наслаждениям, и моя союзница мне обрисовалась в самых чарующих красках. Я едва не вскрикнул от радости, от особенной любви к ней, любви самой могущественной: в ней чувствовался союз преступлений. Я вспомнил о ее записке и стал читать.

«Прочитай и изорви или, лучше, сожги. Иди и отыщи непременно эту плаксу; спустись вниз и иди по нижним ал-

леям; она, вероятно, сидит у озера. Поухаживай за ней: что делать, это необходимо ввиду наших дальнейших замыслов. Только не целуй ее: мне будет казаться, что на твоих губах следы ее дыхания, и это отравит наше блаженство, которое наступит скоро: в двенадцать часов ночи жди меня в сторожке у монастыря, наверху горы. Я усыплю своего Аргуса».

Я поднялся с камня, радуясь при мысли, что скоро буду с ней. Меня точно подымала какая-то сила и уносила все дальше: восторг всецело овладел мной. Однако, я не знал, куда идти.

Подо мной, в искусственно сделанном подземном коридоре, виднелись вершины деревьев, на которых играли золотые лучи солнца. Невдалеке виднелась подгнивающая деревянная лестница: я стал спускаться по ней и очутился в зеленом коридоре. Здесь царил вечный полумрак и сквозь древесные купола виднелись только узенькие полоски голубого неба. Звуки струн доносились гораздо громче. Я шел довольно долго, переходя из одного коридора в другой, и вдруг совершенно неожиданно очутился у берега прозрачного голубого озера, вокруг которого возносились остроконечные скалы на громадную высоту. Это было очень дикое место, полное мрачной поэзии, и я не сомневался, что дочь старого князя находится где-нибудь здесь под скалой. Где же ей и быть больше, — ведь это место совершенно гармонирует с ее опечаленной душой, в которой царят бурные чувства к моей особе — и вздохи глубокого отчаяния — подобие криков орла среди этих скал. Бедная княжна!.. Я сейчас же ее увидел, но какой она имела вид! Она сидела на вершине огромного камня, который, как казалось, был когда-то оторван от скалы, упал в озеро и теперь, покрытый мхом, одним концом лежал на берегу, а другим входил в воду. Длинные нити мха тянулись от него к поверхности озера, униженные каплями воды, точно слезы, катящиеся по морщинам одинокого старца. Мне казалось, что княжна представляла необъяснимое сходство с этим камнем: она сидела, точно окаменелая, в одной позе, с мандолиной на коленях, на струнах которой недвижно лежали ее паль-

цы — с головой, опущенной на грудь, с которой, как нити растений с камня, свешивались распущенные волосы; широко раскрытые глаза ее были неподвижно устремлены в воду. Это было полное олицетворение уныния и грусти и мне казалось, что она и камень представляли нечто целое, дополняющее друг друга.

Ее хрупкая больная красота, в соединении с выражением грусти, могла бы растрогать хоть кого, но в моем уме мелькали картины смерти ее брата и, казалось, с самой могилы его в мою душу вливался холод. Чем яснее я сознавал, что она меня любит, тем сильнее подымалось чувство злобы во мне. Я понимал, что создал для себя ужасное положение, и чувствовал, что всеильное «нечто» толкало меня вперед. Я не мог бы остановиться, если б и захотел.

Обогнув озеро и приблизившись к ней, я тихо вскарабкался на камень и стал за ее спиной.

— Княжна!..

Она поднялась в страшном волнении.

— Как вы меня испугали!.. Но, скажите, ведь вы не знали этого места — что вас побудило разыскать меня? Любовь или желание посмеяться над больным, одиноким существом...

— Полноте, княжна; оставьте все эти странности и поверьте — я очень рад, что, наконец, нашел вас. Это было нелегко.

— Вы меня нашли, а я, сидя здесь, думала все том, что вас потеряла... ваше сердце... и никогда уже не скажу, что его снова нашла... как в первый раз, когда, увидев вас, подумала: нашла. В самом красивом цветке может скрывать змея... Она выползла и обвилась вокруг моей шеи...

— Княжна, вы выражаетесь очень странно.

— Милый доктор, вы можете догадаться, о ком я говорю: эта змея — моя мачеха. О, она красива — очень, очень и вы восхищаетесь ею... Не отрицайте эту печальную очевидность. Восхищаетесь, не думая о том, что этот цветок полон яда. В ее лице я читаю мою гибель, ее взгляды убивают... Я трепещу от ее ласкового претящего голоса и мне все кажется, что ее речи — тонкие змейки, которыми она хочет обвить

меня и неожиданно задушить. О, я ясно все вижу... вижу ее душу... Она смотрит из ее глаз и я читаю. Нам, бедненьким нервным созданиям, сама природа дает способность второго зрения для того, чтобы, видя на дне человеческого сердца всяких ядовитых змеек, мы почувствовали бы отвращение к жизни и не очень бы сокрушались, что нам так рано приходится ложиться в гроб...

Она говорила все это тихим, печальным голосом, нервно вздрагивая тоненьким телом; голова ее, с распущенными черными кудрями волос, покачивалась так, что, казалось, вот-вот упадет, как плод с надрезанной ветки.

— Милый доктор, вы побледнели. Что с вами?

Да, я чувствовал, что бледнею; я бледнел от внутренней тревоги, так как ее слова кололи меня, как иглы; бледнел от поднявшейся злобы во мне и ненависти к ней. Были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание оторвать эту чудную больную головку от тоненького больного тельца. Кто не поймет причины этого страшного взрыва злобы во мне! Преступление ищет тьмы и человек полагает, что его мысли достаточно скрыты от постороннего ока в самых потаенных глубинах его души. Деспоты и хитрецы не выносят пристально устремленных на них глаз. Поймите же и меня: невинная девушка объявляет, что у нее какое-то двойное зрение, с помощью которого она читает людей: значит, возможно, что разгадает и меня; а там во мне зловещие замыслы, за моим видимым лицом таится другое лицо моей души — безобразное и страшное, и вот она выражает претензию видеть его, смотреть на него, ужасаться. Она — мой немой обличитель, и натурально, что ее признание породило во мне ненависть к ней. И вот еще что прошло в уме моем: я, гордый Кандинский, вообразивший, что могу править собой, как кормчий кораблем, увидел ясно, что подчиняюсь общим законам, как всякий человек, — Петр да Иван, да еще миллионы других. Кормчий роняет из своих рук руль и корабль вертится и бьется о подводные рифы, летит, вздымаемый волнами и кормчий чувствует бессилие совладать с ним. Моя гордость была глубоко унижена. Кандинский не великан, который бы мог идти по указанию

своей железной воли. В груди его — ад и пламя, пламя это подхватит его и понесет, куда он вовсе не желает, и выбросит, как всякого преступника, униженного и разбитого. Такой конец не представляет для меня ничего привлекательного. Того ли я ожидал? Я хотел осуществить свои идеи бесстрастно и холодно, не как преступник, а как делает это природа: убивает без преступления. Вместо этого получается что-то мизерное: человек, которого мучают страсти и совесть, что вовсе не есть новость под луной. В результате всего этого поднявшееся самолюбие стало напештывать мне идти по избранному пути хотя в пропасть, истерзать себя, но подчинить свои чувства холодной воле.

Не помню, что и как я ответил княжне, но она вскричала с неподражаемой грустью:

— Милый Кандинский, я читаю в вашем лице грустную истину: вы любите эту женщину с сердцем дикой кошки, и потому судьба моя свершилась.

— Ваша мачеха прекрасная женщина, умеющая свято выполнять свой долг жены вашего отца, и меня, Нина Евстафьевна, крайне огорчает ваше предубеждение к ней.

Она ничего не ответила на эти слова и села на камень. Голова ее упала на грудь и широко раскрытые глаза снова уставились в воду с таким видом, точно она всматривалась в глубину своей могилы. Она походила на статую скорби. Обоюдное молчание это было довольно-таки неприятным.

— Милая княжна, я не понимаю вашей грусти в этом дивном, уединенном месте. С таким видом можно сидеть разве в темнице; а здесь, посмотрите вокруг себя: остроконечные скалы, между которыми, смотрите — узенькие долинки, теряющиеся там далее в горах, точно зеленые дорожки, по которым ступают незримые горные феи и, полные шаловливой радости, поднимаются на вершины гор к самому небу; там они несутся в веселом хороводе, обвивая друг друга пурпуровыми лучами вместо лент... Вы ничего этого не хотите замечать, и посмотрите, в этом прозрачном озере, как уныло отражается ваш печальный образ.

Несомненно, я нарочно выражался языком богов, и мне было бы совестно, если бы не было так злобно и смешно.

Княжна прислушивалась к моим словам, точно к музыке, несущейся из уст тех горных фей, которых изобрело мое воображение.

— О, Кандинский красноречив — я это знаю. Вы — поэт и медик, только второй смеется над первым, и потому у вас такой холодный вид. Мой милый, вы тушите священный огонь вашего сердца холодом иронии. Ваша душа — алтарь, но ум — холодильник, который тушит небесный свет... отдайте мне одно — ваше сердце и бросьте дьяволу остальное... или все равно — вашей Тамаре. Любите ее только умом, но сердце ваше...

Она внезапно умолкла, но в глазах ее, уставленных на меня, отражался рай надежд и небесной любви.

— Княжна, повторяю, я люблю вашу мачеху почтительной любовью, не той, которая может вызывать ревность... Однако же, мое сердце, как принято выражаться, не свободно... в нем поселилось новое для меня чувство, и я напрасно боролся с собой...

— И не боритесь: лукавая Тамара знает, как рассыпать огонь своего сердца, чтобы растаяла ледяная кора, в которую закован холодный Кандинский.

— Я сказал: нет.

— Повторяю: да.

— Ваше упорство меня очень неприятно поражает, Нина; говорю в последний раз: вы ошибаетесь.

— Так кто же это счастливейшее создание?!.. — воскликнула она надтреснутым больным голосом и, что меня крайне удивило — с какой-то грустной иронической улыбкой на губах. — Это создание, конечно, должно быть сотканным из пламени и эфира и, по крайней мере иметь крылья на плечах — ангела или злого духа — не знаю. Обыкновенную девушку, которая бы вас так доверчиво любила, как я, вы не можете любить...

Я находился в самом глупейшем положении: наивная княжна высказала все это с явным сарказмом, сопровождавшимся неподражаемой горечью и грацией движений. Положительно, она оказалась гораздо умнее и проницательнее, нежели я думал; ее наивность обманула меня.

Тревога, поднявшаяся во мне, не дала мне возможности удержаться от фразы, которая чуть слышно сорвалась с моих губ:

— Ужели вы не видите, кого я люблю?..

— Говорите?

— Вас.

— Кандинский!..

Это восклицание она произнесла голосом, полным огорчения и укора. Затем, я думал, что она, по крайней мере, бросится мне на шею, но увы, случилось нечто мной непредвиденное.

Она отвернулась, села на камень и вдруг горько расплакалась. Мне оставалось только смотреть и недоумевать о причине этого обильного излияния благородной влаги из глаз.

— Вы стоите и смотрите на меня безучастно и холодно и говорите, что любите меня.

Слезы полились сильнее, положительно ручьями, после того, как все это она произнесла голосом неизъяснимой скорби и укора. Мое положение становилось все более глупым, хотя в уме пробегали медицинские соображения с саркастической окраской: «Нет ли какой-нибудь микстуры остановить этот поток слез?». Она, между тем, прерывающимся голосом говорила:

— Ах, мой друг, какой дурочкой я должна вам казаться!.. Жалким, глупеньким, больным, несчастным созданием!.. Может быть, я такая и есть, но вы, мой бедный Кандинский, более жалки, чем я — в миллион раз, и я плачу не только о себе, о своем разорванном сердце, в котором было столько нежной любви к вам — я плачу о вас, о вашем глубоком падении, таком глубоком, что вам может позавидовать сам сатана. И не только я вас так поняла, есть у вас и другой обличитель: моя бедная, старая няня, которую так безжалостно выгнали из дома. Я не повторю того, что она рассказывала про вас и страшную жену моего несчастного отца. О, мой друг, вы унижаете себя ложью и притворством: вот мое сердце — вырвите его лучше прямо из моей груди, и это будет благороднее, отдайте его моей мачехе и

пусть оно вам обоим напоминает о несчастной жалкой девушке, когда вы будете блаженствовать с нею без нас...

Громкие рыдания прервали ее слова. Я был поражен этим открытием нашего замысла, изшедшим из невинных уст, и стоял в оцепенении.

— А я, Кандинский, я вас любила так, что вы с вашим холодным умом и представить себе не можете глубины моего чувства. Не смотрите на меня, как на жалкое нервное существо: в моем сердце любовь, ненависть и терзание слились и мне остается только возопить к самому небу в горьких жалобах. О, Кандинский, вы воспеваете небо и горы, хотя и здесь вы смеетесь: так знайте же — не только на этой земле, но если бы я была обречена жить с вами на вершине этой скалы, то и там я нашла бы рай и пламя моей души летело бы к самому Престолу Божьему... Но злоба вашей души убивает меня и единственное, чего мне приходится теперь ждать от милосердия Божьего — смерти.

Наконец, она умолкла. Слезы снова полились из ее глаз и, скатываясь по ее лицу, капля за каплей падали в воду. Все это было очень трогательно и я невольно назвал это озеро — бассейном слез. В моем уме прошла странная мысль: слезы вечно текут из человеческих глаз, безостановочно с начала веков, и давно бы уже могла образоваться река, охватывающая серебряной лентой весь Божий мир. Что может быть трогательнее такого зрелища страданий! Судите же после этого о жестокости Провидения: уже не одну тысячу лет страдания гуляют по белу свету и небо смотрит на них холодно и безучастно. Так и мое собственное сердце, сердце Кандинского, от зрелища одних лишь ампутаций давно уже превратилось в лед.

Странно: эта поверхностная, похожая на каламбур мысль шевельнула во мне гордость и злость, и слова девушки о нашем замысле отзывались во мне еще болезненней.

Я ее ненавидел. Моя гордость возмущалась при мысли, что эта невинная девушка развенчивает меня, известного своей положительностью медика, и бесцеремонно ужасается, видя под моей элегантной наружностью другое лицо, по ее мнению, безобразное. Признавать свое внутреннее урод-

ство я не хотел, и в моей душе поднялось холодное глумление. Впрочем, она сама дала обильную пищу этому чувству своими слезами и болезненной любовью ко мне. И я смотрел на нее и думал: «Эта девушка — не что иное, как расстроенная арфа, издающая странные потрясающие звуки от первого прикосновения к ней; все валтики раскрутились, штифтики вертятся и пляшут, струны утонились и натянулись. Расстроенный инструмент — не более, и не удивительно, что она вопит, плачет, призывает небеса в свидетели моей жестокости. Положительно, ее не мешает полечить электричеством, как ее брата».

Мне надоела эта сцена. Во что бы то ни стало надо было остановить этот фонтан слез. Пускай она думает, что хочет, но мне остается одно: уверять ее в ее болезненном расстройстве, разбавляя горечь этих слов сладостным елеем звуков о моей любви.

Я сел рядом с ней на скалу, ощущая в этот момент особенное острое наслаждение, перемешанное с душившей меня злобой. Сначала я долго говорил ей о ее болезненном умственном расстройстве, в подтверждение чего приводил ее собственные, будто бы крайне дикие слова о каком-то заговоре против нее. Ничего не стоило осмеять все это и представить, как результат болезни. Прием этот самый обыкновенный в наше время, шаблонный. В удобстве его нельзя сомневаться: вместо всяких доказательств нелепости обвинения, стоит только самого обвинителя окрестить коротеньким словом «ненормален» — просто и удобно.

Она подняла голову и, глядя на меня с кротким укором, жалобно проговорила:

— Дорогой Кандинский, не думаете ли вы с моей мачехой отправить меня в сумасшедший дом?

«Поистине, это блестящая мысль», — подумал я, придавая в тоже время своему лицу выражение ужаса. И этими ее словами я с удобством воспользовался, проговорив:

— Видите, моя деточка, какое у вас болезненное воображение, и это вы говорите мне, Кандинскому, который вас так пламенно любит... Да-да, я вас обожаю... но вы не верите мне и мне хотелось бы это доказать обыкновенным спосо-

бом влюбленных: прострелить свою голову и умереть у ваших ног.

Мне показалось, что, наконец, я ее победил: глаза ее расширились и засветились. Я ее обнял; но, увы, я напрасно торжествовал: вслед за первым моментом изумленное лицо ее исказилось, по губам пробежала горькая усмешка, и вдруг она истерически рассмеялась.

— Вы, конечно, принимаете меня за сумасшедшую, которой все можно говорить... Мое бедное сердце... Как оно любило вас и как я наказана... Вот, черный ворон, прокаркай мне смерть в наказание за короткое блаженство; я стараюсь не думать, а только любить и пью любовь из ваших лживых уст.

Она охватила мою шею руками и, странно смеясь, впиалась своими губами в мои. Все ее тоненькое существо сотрясало от истерического хохота. Внутри в ней все клокотало и билось.

— Кандинский, теперь я блаженствую, вы видите сами; я не хочу знать, что вы жестоко смеетесь надо мной... Я люблю, наслаждаюсь и кричу на весь мир: в этот момент я счастлива.

Вдруг, перестав смеяться, она сказала, дико сверкнув глазами:

— Ты хочешь умереть? — умрем вместе.

Она потянула меня к воде, но это было уже чересчур, и я, одним движением высвободившись из ее рук, отошел от нее и совершенно спокойно проговорил:

— Оставьте ваши безумные выходки, княжна. Теперь я вам скажу правду: я вас не люблю.

— Благодарю вас за откровенность и простите, что я так увлеклась. Это был припадок, недостойный меня; но он больше не повторится.

Она склонилась над водой и вдруг, перебирая по струнам своей мандолины вздрагивающими пальцами, запела что-то чрезвычайно унылое. Слезы снова полились из ее глаз градом, но я на нее уже не смотрел. Вся эта сцена меня смертельно озлила.

XII

«Все выше, выше и выше, это черт знает что... Гора положительно уходит к самому небу... Чрезвычайно своеобразная мысль назначить свидание на такой высоте».

Рассуждая так с самим собой и опираясь на палку, я подымался все выше по горе, идущей под углом, по крайней мере, градусов сорока пяти. Эти горы вообще порождают полный обман зрения. В особенности издали гора может казаться очень невысокой. Но попробуйте вскарабкаться на нее. Идешь, идешь и нет конца. Надо заметить, впрочем, что по мере восхождения вас начинает охватывать замечательная легкость и как бы вдохновение: невольно кажется, что земля делает человека злым и тяжелым и, только отдаляясь от нее, он получает крылья орла и сердце ангела.

На самой вершине горы виднелась высокая и ветхая башня царицы Тамары. Таких башен и замков доброй царицы в Грузии бесконечное количество, и очевидно, что большинство из них она никогда не удостоивала чести своего пребывания. Как бы ни было, но развалины башен всюду виднеются на вершинах гор и скал, придавая им часто особенную эффектность: иногда, когда облака падают ниже вершин гор, они кажутся висячими в воздухе.

Немного в стороне от башни виднелись верхушки монастыря. Все вокруг было залито сиянием луны и принимало фантастические и таинственные очертания. Идея моей Тамары предаться блаженству любви где-то под облаками все более начинала дразнить мое воображение: только гордые орлы имеют привилегию любезничать на такой высоте.

Наконец, я взошел на гору. Вправо от меня, осененные кущами чинар и граба, белелись стены монастыря с кое-где светящимися в кельях огоньками. Монахи, видимо, не окончили еще своего молитвословия, и в одном из окон я увидел сгорбленную фигуру старца, склонившегося перед иконой. Я подумал, что его я потонуло теперь в блаженстве священнодействия и унеслось в горный мир, загипно-

тизированное самоутлублением и созерцанием невидимого. Что ж, в этом мире всякий имеет право жить по своему.

Влево на скале возвышалась башня, из одинокого окна которой светился огонек. Далее со всех сторон полукругом возносились новые горы, по которым, точно турецкие часовые в зеленых чалмах, недвижно стояли деревья.

Я долго стоял в замешательстве, не зная, каким образом отыскать домик сторожа, куда пригласила меня моя союзница и в котором, как она мне потом объяснила, никакого сторожа не было; домик переходил в полное владение желающих, с разрешения «братии».

Вдруг меня поразило эффектное зрелище.

Невдалеке от меня находилась невысокая гранитная скала, на вершине которой стояла роскошная, высокая женщина с бледным лицом. Она была так грациозна и прекрасна и стояла так неподвижно, что в первый момент показалась статуей богини, а скала — ее пьедесталом.

Я быстро пошел к скале и стал входить на нее. Статуя оставалась неподвижной, может быть, нарочно, чтобы сильнее поразить меня, и только когда я приблизился к ней на несколько шагов, яркие искривленные губы раздвинулись и зубы Тамары медленно выступили предо мной, сверкая, как жемчуг. Только она умела улыбаться так загадочно и вместе сладострастно.

— Мой друг, ты опоздал на целый час, — сказала она мелодическим голосом. — Ты целый час отнял от нашего счастья.

Я смотрел на нее, не двигаясь, любясь ее бледной, светящейся красотой и пораженный загадочной особенностью ее лица: в нем отражалось веселье вакханки и вместе скрытое отчаяние, точно она, чувствуя себя в бездне, мысленно срывала с себя покровы всякой стыдливости — нравственной и физической.

— По крайней мере, эта ночь наша и ты мой.

С этими словами она протянула руки, охватила пальцами мою шею и привлекла к себе.

Я посмотрел вниз. Предо мной расстилалась бездна громадная, необозримая, по которой таинственно перелива-

лось серебристое сияние луны. Отвесные кручи, скалы, пропасти, темные силуэты чинар, грабов и задумчивых кипарисов, траурно простиравших свои ветви, голубоватые озера, светящиеся, как хрустальные блюда, яростно падающие с крутизны реки — все это, разбросанное на необозримом пространстве, было охвачено особенной таинственной жизнью и, казалось, покоилось под нашептывание чарующих грез. Где-то далеко в ущелье, посреди гор, белелась длинная, излученная лента домов Тифлиса со светящимися точками огней.

— Смотри, мы здесь, а там внизу бездна и имя ей — мир.

— Мы с тобой два особенных существа — не правда ли?

— Пожалуй.

— Особенности — да. А упоительно хорошо в этой голубой беспредельности. Здесь рождаются мысли и смелость. Мне кажется, ты вознес меня куда-то на страшную высоту и, глядя в эту бездну, меня охватывает смех при виде города, где живут ничтожные люди, всего боящиеся и непростительно скучные. Теперь у меня точно выросли крылья и я поднялась, легкая, как птица, веселая и гордая.

Под смеющимися ее губами выдвинулись белые зубы и стиснулись, точно смех остановился в ее груди и не выходил из ее уст.

— Ты сегодня какая-то особенная, Тамара.

— Веселая?

— Не совсем. Есть нечто, что тебя ужасает.

— Нечто есть!... Какой ты скучный.

Она нахмурилась.

— Ты хочешь отравить лучшее, что есть в жизни — любовь. Да?

— Нет, такого желания я вовсе не имею, совсем напротив.

— Не напротив, если умышленно портишь всю веселость. Раз навсегда я тебе сказала: не говори со мной твоими таинственными загадками, которые я никогда не буду в состоянии понять. Никогда, слышишь ли, и иди вперед....

— Вот то-то, все-таки вперед.

— Не понимаю я, о чем ты... Одно только повторяю: мое положение невыносимо и исключает всякую возможность свободной любви. Выйти из такого положения я не вижу возможности. Ты видишь и знаешь. Ты человек с железной волей, как сам говоришь — так и веди меня. Я так жажду счастья, любви, свободы... Ведь жить, значит любить... а я вся состою из эфира и пламени....

— Правда, правда.

— Какой же ты глупенький, мой миленький философ: стоишь здесь со мной на такой высоте, где никого нет, кроме орлов, и не хочешь подражать им: схватить свою орлицу!

Она рассмеялась и, положив руки на мои плечи, стала смотреть на меня смеющимися, особенно очаровательными глазами.

— Ну, же, ну!.. — прошептала она и впиалась губами в мои губы.

Я видел, как изгибалось ее гибкое тело, и — когда ее голова склонилась ко мне на плечо — как по ее белой шее прошла судорога. Минуты летели.

— Подожди... Я обовью тебя своими волосами... вот так... и повлеку тебя, как своего раба... Эту ночь я царствую...

В один миг черные волны ее волос упали с головы ниже колен, она перевила ими мою шею с тихим смехом, звучащим, как журчание ручейка.

— Иди за мной.

Она повлекла меня вниз со скалы. Я шел в каком-то опьянении, ощущая близость ее лица, впивая в себя запах ее волос. Голова моя кружилась, мысли странно перепутались и все-таки я подумывал: «Наконец, я могу воскликнуть: время, стой, но оно не остановится, оно пройдет, как проходит все на свете, и я сам буду холодно злобствовать, вспоминая эти минуты». Я рассуждал, и в чашу моего блаженства незаметно скатывались капли яда.

Вдруг она неожиданно сказала:

— Мой бедный муж, бедный мой муж!

— Ты сожалеешь о нем? Не вижу для этого причин.

— Представь, он спит теперь.

Я посмотрел на нее вопросительно.

— Ведь прежде он всегда страдал бессонницей и часто беспокоил меня, что для такого старца губительно. Заботясь о его здоровье, я его усыпила.

И потом она шепотом добавила:

— Всыпала в его стакан хлорала.

— Продолжай только так поступать и в одно прекрасное утро он и не проснется.

— Неужели? Ни за что в мире больше не прибегну к этому. Я ведь с добрым намерением — ты знаешь... Ах, мой друг, мне кажется, ты перевернул мне сердце и оно все в огне.

Она вдруг сделалась бледной и губы ее раскрылись в странной улыбке.

— Простой рассудок говорит, что твоя молодая жизнь стоит много жалких существований, как твой старик, например. Ну, что такое за важность остановить маятник старых часов?

— В самом деле, как это просто!... — воскликнула она, как бы невольно пораженная этой мыслью, но вслед за этим лицемерно опустила свои длинные ресницы.

— Какое для меня было бы горе, если бы он неожиданно скончался. Какое горе!... Моя падчерица осталась бы сиротой, бедняжка, и горько бы плакала... но, но...

— Но... продолжай.

— Ничего, Кандинский.

— В таком случае, она будет долго, долго жить, — говорил я, побуждаемый желанием наказать Тамару за ее лицемерие. Она остановилась, взглянула на меня и холодно проговорила, освобождаясь от моих объятий:

— Оставьте меня, сударь, оставьте.

— Мой ангел, успокойся, она — скелет: стоит дунуть и огонек внутри погаснет.

— Ничего, ничего, ничего не понимаю, — воскликнула она и подала мне руку. — Не понимаю я, о чем ты говоришь и что у тебя за желание отравлять минуты счастья такими разговорами. Смотри, что за ночь! Мы на такой высоте и свободны, как птицы. Иди за мной, мой миленький доктор, мой раб.

В эту минуту пред нами блеснули белые стены маленького домика. Тамара, подойдя к нему, остановилась у двери как бы в нерешительности.

Вдруг нас обоих поразило неожиданное зрелище.

В нескольких стах шагах от нас с вершины горы медленно спускалось странное существо в белом одеянии. Издали оно имело вид белого, медленнодвигающегося столба с черным развевающимся облаком волос на вершине. Благодаря лунному сиянию, одежда существа казалась золотисто-белой и само оно очень походило на призрак.

Тамара испугано вздрогнула и уставила свои расширившиеся глаза на мнимое привидение. Я прижал ее к своей груди и стал покрывать ее губы поцелуями: ведь мы находились у двери нашего Эдема; пламень страсти, горевший в ней таким ярким светом, под влиянием страха мог угаснуть; я его снова возжег и она смело сказала: «Это вовсе не привидение в саване, а просто женщина в белом платье. Пойдем».

Она отворила дверь и вошла в домик, а я снова взглянул на странную фигуру в белом и остался на месте в изумлении. Дело в том, что на один момент в сиянии луны пред мной обрисовалось бледное маленькое лицо Нины; потом белый столб, как мне показалось, закружился на месте и бледный профиль покрылся тенью, бросающей высокой скалой.

Такое открытие для меня было далеко не из приятных и в другое время я, конечно, начал бы задаваться различными рассуждениями о загадочном появлении Нины на этих высотах, но теперь я отбросил всякую мысль о ней: меня ожидал Эдем. Переступив порог, я очутился в маленькой комнате, увешанной персидскими коврами. На длинной оттоманке, поддерживая обнаженной рукой голову, лежала Тамара. Лунное сияние озарило ее лицо, окруженное черными облаками падающих до земли волос. Ее глаза смотрели прямо на меня в упор и красные губы полуоткрылись в вызывающей страстной улыбке. Я подошел к ней. Она на мгновение привстала; послышался треск отстегнувшегося золоченого пояса, и Тамара протянула мне

руки....

На этом месте я опускаю занавес.

.

Мой протест против описания картин блаженства происходит вот отчего: человек — создание страдательное, он не перестает страдать даже на груди возлюбленной и в чашу блаженства всегда скатываются невидимые слезы. Может быть, это слезы ангела, который оплакивает грехопадение любовников, стоя у их изголовья; может быть — злого духа. Как бы ни было — в моментах самого безумного блаженства есть примесь страдания. Проклятое колесо мыслей вечно вертится в нашем уме, отбивая свой такт, и чертит свои печальные или даже похоронные фигуры в то время, как все нервы содрогаются как бы в одном вздохе любви. В своем уме мы носим страдания и чем тоньше ум, чем выше критическое отношение к себе и самоанализ, тем глубже самоотравление. В уме таится яд, незримые атомы которого, стекая, прожигают свое собственное сердце. Но есть и еще нечто другое: всякое блаженство имеет конец и вот в мыслях своих человек вечно отбивает моменты своему коротенькому счастью, отравляя его и разбавляя ядом горечи и сожаления, что оно уходит. На колоссальных часах Времени безостановочно бегают маятник и мы, всегда видя его перед собой, отчеканиваем: тик-так, тик-так. Признаться, все это очень досадно. В конце концов, и страдания, и радости не более как тени, проходящие перед нами и разгоняемые ветром. В этом смысле я совершенно искренне повторяю фразу: страдать или наслаждаться, пожалуй — безразлично.

С разбросанными волосами, со страстным смехом на губах, звучащим упоением, Тамара лежала предо мной, глядя на меня неподвижными глазами, золотистый ободок которых придавал им вид двух черных камней, охваченных кружком из пламени, и время от времени начинала снова

и снова безумно ласкать меня.. И в ее смехе, и в ее опьяняющих ласках, и в безумно-смелых словах — во всем выражалась чувственность, сопровождающаяся страшным сознанием совершенного преступления. В моих объятиях она бессознательно искала забвения и чувственность ее, как и моя, страшно разрасталась: мы мысленно видели перед собой кровавое пятно, которое, колеблясь и расширяясь, заволакивало нам глаза. Невольное сознание нашей обособленности от других людей заставляло нас мысленно отрицать всякую мораль и стыдливость и являться друг перед другом нагими и глумящимися. Мы были во власти зла, мрачных помыслов и шевелящегося в нас отчаяния, и уже тогда мы смутно чувствовали это. Наше нашептывание друг другу мешалось со странным смехом и отдавалось глухо. Поцелуи наши разжигали нас и после них оставались на теле красноватые полукруги зубов, точно мы искали крови и старались чувствовать ее. Наш смех звучал странно, почти безумно и дышал сладострастием. Как бы ни было, но в конце концов я все-таки мысленно поздравлял самого себя: теперь я вполне искренне мог обратиться к небесам с единственным молением: «Время, остановись», так как находил, что достигнул апогея возможного блаженства на земле, возможного если не для людей добродетели и морали, конечно, то для тех, кто, отрицая все это, вооружен дерзкой волей и жаждой жизни. Время, однако же, шло, и с каждым поцелуем, с которым я впивался в высокую, розоватую, как пламя зари, грудь Тамары, мой слух отчетливо улавливал биение ее сердца, и в моем уме биение это странно отождествлялось с ударами маятника: тик-так, и напоминало, что минуты эти уходят в вечность безвозвратно вместе со страстными вздохами, замирающими на ее устах.

И вдруг произошло что-то странное, болезненно отозвавшееся в нас.

Это был протяжный, тихий смех, раздавшийся откуда-то из-за окна, зловещий и отчаянный, и в то же время жалобный, как плач ребенка.

Мы оба взглянули в окно и в лунном сиянии за стеклом пред нами обрисовалась белая фигура с маленьким, окру-

женным черными волосами, лицом: то была девушка. Она походила на призрак и лунная ночь придавала ее бледности какой-то янтарно-мертвенный отблеск. С ее широко раскрытых глаз, казалось, смотрел на нас холодный ужас и из оскалившихся сжатых зубов лился протяжный жалобный хохот.

— Доктор и мой прелестная мама — какой стыд!

С этим восклицанием белое привидение охватило свой лоб руками и закачалось на месте. В этот же момент перед ней откуда-то появилась дряхлая, знакомая мне старуха с белыми, как снег, торчащими вокруг головы волосами. Подхватив на руки девушку, она громко заговорила густым старческим голосом по-грузински. Тамара перевела впоследствии ее слова так:

— Не смотри на них больше, моя детка: ведь ты уверилась теперь, хотя не верила мне, твоей старой няне. Вот это Кандинский — отравитель, а эта красивая змея — ты ее тоже знаешь — твоя мачеха. Уйдем отсюда. Говорю тебе: из их глаз выползают змеи и пьют кровь твоего сердца...

— Няня, дай мне нож... Я не хочу больше жить...

Старуха, обвив руками талию девушки, заставила ее отойти от окна, и две фигуры, промелькнув за деревьями, скрылись.

Я перевел свои глаза на Тамару и изумился: вид ее был поразителен.

Она стояла предо мной с неподвижностью монумента, с лицом таким бледным, что оно было как бы вырезанным из слоновой кости, и от этого лица веяло теперь холодом и неприступной гордостью. Казалось, в ней внезапно ожили какие-то дремавшие прежде чувства и наполнили ее уязвленное сердце. Я стал на одно колено, взял ее руку и почти-точно поцеловал.

Ее губы чуть-чуть раскрылись в улыбке, но видимо, желая побороть себя, она нахмурилась и, сделавшись дивно хороша, сказала:

— Что означает эта выходка?

— Я твой рыцарь до гроба и оказываю тебе честь, как рыцарь своей даме.

— Ты шутишь, но, признаюсь, неудачно. В моей душе буря и она не утихнет, пока жива... Как она сюда попала?

— Допускаю, что адский огонек ревности вознес ее на эти горы.

— И смеет она ревновать — этот скелет!.. Кандинский, ты должен снять с моей души этот камень...

— Камень!.. — проговорил я с притворным удивлением.

— Противный человек, ты должен знать, что в душе моей, там — ад.

«Наконец-то», — подумал я в чувстве охватившей меня радости.

— Бедная девушка!... Я ее хотела бы любить, но не могу.... Ненависть подымается во мне и гасит последние искры чувства. Я чувствую, что сердце мое превращается в лед.... Как я ее любила бы.... Но, противный скелет, что она думает теперь — воображаю.... Как это вынести.... Оставь меня...

— Тамара!.

— Оставь меня!..

Она сделала резкое движение к двери.

— Зачем же волноваться так, не понимаю.

Она гордо выпрямилось.

— Между нами все кончено. Среди нас двух вечно будет стоять этот скелет, в котором имеются глаза, уши, сердце, понимание позора, до которого я дошла, и этот скелет будет видеть, слышать, понимать... Между нами все кончено.

Она решительно шагнула к двери, но я преградил ей путь.

— Тамара...

— Прочь!.. Между нами все кончено.

— Надо объясниться...

— Ты должен понимать без слов, слышишь ли, должен. Я в бездне позора и стыда. Ты должен раскрыть дверь свободы. Вот все.

Она снова сделала резкое движение к двери.

— Какой у тебя, однако, властный вид.

— Да, да — властный. Ты должен знать, что делать надо, и освободить меня, если только твоя железная воля — не плод твоего воображения. Неблагодарно и грубо впутывать в свой план слабое создание — женщину.

— Хорошо, — проговорил я, не понимая, что своими словами она подняла во мне моего божка — «самолюбие». Железный доктор овладел воображением моим и я решительно проговорил:

— Дверь свободы непременно раскрою, хотя бы на страже у ней стояла целая дюжина ангелов-хранителей невинной души.

— Удивительно странные слова, мой друг, и, конечно, я не понимаю их. Однако, знаешь, мне кажется, что эта ночь как бы сорвала с тебя венец величия....

Она насмешливо улыбалась.

— Мы оба пали...

— Как понимать это?

— Да, пали.... Ты развенчан, дружок...

Она улыбнулась презрительно и чрезвычайно коварно.

— Развенчан?

— Совершенно, — проговорила она с ударением и посмотрела на меня смеющимися глазами. — Ты такой же, как все вы, мужчины, и знать это меня страх как подбивало. Теперь я не позволю тебе себя мучить, скорей наоборот. Ты можешь быть моим любовником, моим рабом, но деспотом моим — никогда.

— Ну, Тамара, твои слова мне кажутся очень странными. Я верил в твою любовь...

— Любовь!... мой милый философ, не ты ли доказывал, что существуют исключительно одни организмы. Ну вот, они в наличности — женский и мужской. Две арфы разыграли в эту ночь самую бурную пьесу своего репертуара. Больше ничего и нет.

Под влиянием досады, я невольно сказал:

— Все-таки ты уверяла, что любишь меня.

— Э, э, дружок, фразой этой ты изменяешь себе, я — нет. Организмы и ничего больше, а ты еще захочешь, пожалуй, каких-то идеалов. Это дико.

Со смехом в лице она раскрыла дверь и мы вышли.

Звезды начали блекнуть. Опьяняющая ночь прошла и я подумал, что с появлением солнца я снова должен буду превратиться в холодного, положительного медика. Да, но

как это сделать? Я все с большим недоумением и, признаться, с невольным уважением посматривал на свою Тамару. Она шла, не глядя на меня, с видом неизъяснимой холодной гордости и такая мрачная, что ее лицо казалось заволоченным тенью. Несмотря на силу своего собственного характера, я чувствовал ее непобедимое влияние на меня и положительную невозможность жить без нее. Пользуясь нашим уединением, я попробовал ее обнять.

— Это что еще!.. — прошептала она гневно и в ее глазах сверкнуло мрачное пламя. — Кандинский, — я твоя любовница — это факт, против которого я вовсе не думаю возражать. Но, повторяю, между нами все кончено... если ты не откроешь дверь... Впрочем, даже и в этом случае все равно: за всякое неуважение ко мне я сумею отплатить. То, что было, может повториться вновь, но оргии ночи и ее бесстыдство нисколько не должны мешать оказывать мне уважение днем.

Это был ребус, который надо было разобрать, и я стал в тупик.

— Хорошо, ваша мрачность, — проговорил я тихо и колко, — постараюсь запомнить этот первый опыт женской самостоятельности.

— Что это еще за мрачность?

— Так как ты сама отводишь себе роль моего повелителя, то я, как подданный твой, должен же тебя как-нибудь титуловать.

Белая полоска зубов на мгновение блеснула в ее раздвинувшихся губах; но, точно рассердившись на себя, она снова сдвинула свои брови и начала спрашивать о загадочном появлении своей падчерицы.

Этого я не знал, точно так же, как и о появлении другой особы — ее няни. Лицо Тамары все более искажалось ужасом и ненавистью.

— Да как она могла сюда прийти — эта противная сумасшедшая? Приходится думать, что она подстерегала нас с помощью этой старой ведьмы. Кандинский, ты должен исполнить свое обещание, мое желание и в то же время мое первое приказание: какое, ты знаешь. Пусть она будет здо-

рова... будет здорова...

— Что ж, пожалуй... — проговорил я, страшно растягивая эти слова; но властный тон, которым она говорила, заставил меня добавить: — Ну, а если пожелаю остановиться на этом, ваша мрачность, и дальше не идти?

— Низкий человек! — воскликнула она грозным голосом и ее фигура мне показалась необыкновенно высокой; из-под ее длинных, загнутых кверху ресниц сверкнули два глаза, точно пламя двух ружейных стволов.

— Ты хочешь меня мучить и, пользуясь моим страшным положением, тиранить меня, чтобы потом нравственно раздавить. Я этого не желаю и не допущу, чтобы ты первенствовал надо мной и впоследствии, со своим холодным видом, сказал: «Тамара, ты мне надоела, я осуществил наш план — дал тебе свободу, с помощью чего — не спрашивай, теперь прощай, я тебя презираю и ненавижу, как змею, которая жалила под мое нашептывание...» Вот чем бы это окончилось; к счастью, я умею вглядываться в эту страшную долину будущего, по которой будут блуждать три бледные тени и ужасать меня.

Она внезапно остановилась и испуганно посмотрела на меня.

— Наконец ты высказалась откровенно. Поздравляю тебя, мой ангел.

— Совсем нет. Я ничего не сказала, Кандинский.

Она засмеялась тихим и зловещим смехом и мне показалось, что с ней заодно засмеялись невидимые существа, скрытые в горах и ущельях.

— Совсем нет, я только отвечаю на твои последние глупые слова: ты не можешь остановиться и дальше не идти. Нет, ты пойдешь и совершишь весь задуманный тобой план уже потому, что ты не можешь жить без меня, это я поняла в эту ночь; я очаровала тебя и ты в моей власти и узнаешь это при первом твоём сопротивлении: стоит только объявить, что доктор Кандинский избрал для себя удивительно оригинальное занятие: убивать больных под видом их излечения.

— Что!... — воскликнул я, нервно содрогнувшись, пораженный неожиданным оборотом ее слов и выражением лица.

— Это твой план, а не мой. Я невинна, слышишь ли. Ну, прощай, оставайся здесь и не смей следовать за мной.

Злость, досада и изумление поднялись в душе моей и, когда она отдалялась от меня, я думал: «Вот как! Вот как! Лицемерка. Ты завлекала меня, вилась в руках моих, как змея, и вот вздумала неожиданно ужалить. Ты лицемерно ужасалась моим планам, а глаза твои говорили: вперед. Кто-кто подменил мое лекарство? Ты, — без сомнения, ты!...»

Последний вопрос давно уже меня сильно занимал. «Она, она, конечно, она», — постоянно носилось в уме моем и теперь, под влиянием досады, во мне явилось непреодолимое желание услышать это из ее уст и наказать ее.

Я пошел было за ней, но она, обернувшись, сделала мне знав рукой с таким повелительным видом, что я невольно остался на месте.

Эффектно выделяясь посреди кустарников, она спускалась по горе все ниже к саду и, наконец, совершенно скрылась, задрапированная густой зеленью.

Надо сознаться: пока Тамара не предстала предо мной во всем разнообразии своего гордого характера, я испытывал невольное полупрезрение к ней, которое примешивалось к ощущению упоения и приятному сознанию моего торжества над ней. Очевидно, что с течением времени полупрезрение это росло бы все более, очарование уменьшалось бы и в конце концов мне ничего бы не осталось, как сделать насмешливо-грациозный прощальный реверанс и за все прошлое проговорить коротенькое *merci*. Это, конечно, очень немного, но женщины, не обладающие талантом разнообразить любовь, остаются оригинальными и неразгаданными и потому представлять все новое очарование и — когда надо — гордо отталкивать от себя своего мученика, заставляя его за собой поохотиться — ничего иного ожидать и не могут. Мертвящая скука и пошлость обыкновенно воцаряется на развалинах любви, герои которой прежде изображали из себя двух нежно воркующих голубков. Тамара

предугадала неизбежность такой развязки: голубка превратилась в гордую орлицу и показала когти. Это удивительно шло к ней и вознесло ее в моих глазах превыше всех женщин. Здесь двойное очарование: женщина-вакханка, беззастенчиво предающаяся оргии с бесстыдством Мессалины и — картина вторая — превращение в гордую и холодную матрону. Как-то не верилось, что еще так недавно она извивалась в моих объятиях, безгранично доступная, и это наполняло меня упоительно-сладостной гордостью. Привлечь ее к себе снова являлось заманчивой целью, где я должен буду изощрять весь свой ум и запастись всей силой своей воли, чтобы не поддаться ее чарам, ее коварству и желанью раздавить меня. Я понимал, что любовь моя к ней никогда не погаснет; она будет поддерживаться двумя силами: страданием, которым она сумеет наполнить меня, и взаимной борьбой за первенство власти.

Справедливость моих рассуждений обнаружилась для меня совершенно наглядно: мое влечение к Тамаре разрасталось во всепожирающую страсть. Мне трудно было усидеть на камне и не сойти вниз, когда ее фигура снова показалась в аллее кипарисов, и если я не бросился за ней, то только вот по какой причине: надо было при настоящих условиях казаться холодным. О, я буду владеть собой до жестокости к себе и, хотя душа моя полна будет адом, на лице моем отразится лишь спокойствие мрамора: ведь я — Кандинский, холодный ультрареалист, который возносил свое гордое «я» превыше звезд и задался гордой целью поставить себя вне законов человечества и законов природы. Надо и идти по начерченному направлению, заливая холодом анализа огонь страстей, свои человеческие слабости, и инстинктивное отвращение являться в роли... палача надо укрыть под черным докторским фраком. Такие действия не разрушают мое «я», а, напротив выдвигают, согласно оригиналу, который я ношу в своем воображении, как идеал; разрушить его может только одно: подчинение моей воли и ума страстям и слабостям обыкновенного человека, что и пытается совершить Тамара, то есть совершенно развенчать меня и превратить человека идеи в обыкновенного, малень-

кого, презренного человечка-убийцу....

Восток все больше и ярче начал вспыхивать пламенем, как от пожара; вершины гор засверкали пурпуровыми лучами, точно одетые в огненно-красные венцы. Всевозможные краски — алые, фиолетовые, пурпуровые — засверкали, заискрились по деревьям, ущельям и скатам гор, точно на все необъятное пространство скатывались златотканые платки, развевающиеся все шире в руках какого-то скрытого в природе колосса.

Я поднялся с камня, взглянув на гору, на которой возвышалась башня, и вот что я увидел.

На вершине горы стоял маленький щедедушный старичок в черной рясе — вероятно, обитатель башни, как я слышал, какой-то отшельник. Белые, как снег, волосы наподобие венца доходили концами до белой маленькой бородки, и посреди образовавшегося таким образом круга из волос выделялось чрезвычайно старое, морщинистое лицо, от которого так и веяло ладаном, духом молитвословия и неземной кротостью. Странное лицо: я никогда такого не видел; в нем было что-то младенчески тихое, радостное, безмятежно-светлое, точно из его глаз смотрел какой-то безмятежный ангел — кроткий, задумчивый и ясный.

Он смотрел вниз, склонив голову, и вдруг я увидел, что по горе медленно взбиралась бледная дрожащая девушка в сопровождении своей старой няни. Старик, поджидая, когда они подойдут к нему, смотрел на нее пристально и улыбка все шире расходилась по его лицу, делаясь все более сладкой, и вдруг мне показалось, что все лицо его озарилось этой улыбкой, как лучами. Руки его молитвенно приподнялись и остановились над головой Нины.

Постепенно меня все более начала охватывать злоба и то глухое отчаяние, под влиянием которого человек хочет бежать от себя самого. Он ее благословляет — добряк этот, а я... Мой жертвенный ягненок она, подумал я, и во мне пробегала мысль: убийца, убийца, и все прошлое, связанное с этим словом, восставало в уме моем. Здесь было обнаженное сознание прошлого преступления и необходимость совершать их в будущем, одно леденящее меня сознание,

без моих идей, имеющих свойство возносить меня от толпы обыкновенных преступников на высоту человека мысли. Я представился себе самому обнаженным, маленьким, несчастным убийцей, но вдруг в уме моем прошла странная мысль, отдавшаяся во мне сарказмом: «Я — Кандинский, реализующий высшие идеи посредством убийств». В этом одном имени «Кандинский» заключалось для меня мое мировоззрение, вознесшее меня в моих глазах так высоко, мои знания, моя, как мне казалось, всепобеждающая воля, мое холодное презрение к жизни: гордость охватила меня с прежней силой, но в это чувство примешивалась теперь мучительная тревога: я делал усилие верить в себя и не мог; я непосредственно понял, без рассуждений, без анализа, осязал всем своим существом безумие свое, и я боролся с собой, чтобы подавить это внутреннее понимание. «Кандинский, Кандинский», — отчаянно, глухо и гордо прозвучал голос во мне, и мне казалось, что этот голос звучит громко, как колокол. Согнувшись, я подумал: «Однако, это род галлюцинации какой-то, черт возьми». И я стал прислушиваться к себе, призывая на помощь всю силу своей воли, чтобы не поддаться чувству страха. «Нас двое, — гм, интересно», — подумал с удивлением и ужасом в то время, как мне звучало мое второе «я». Я пытался анализировать свое состояние; но воображение мое работало слишком болезненно-ярко, и вдруг звук колокола, раздавшегося в это время откуда-то с монастыря, отозвался где-то во мне, в глубине моего существа, и зазвучал, и в уме моем возникла иллюзия: мне показалось, что я сам движущийся разрушенный храм, откуда отлетел ангел мира вместе с моим детством. Детство мое пронеслось в уме моем, когда я был ясным и чистым, и мне стало жаль его при представлении того страшного гордого существа, в которое я обратился теперь, и как бы в подтверждение этого внутри меня снова отозвался, как эхо, звон колокола — ясно и как-то похоронно. Мне хотелось крикнуть в чувстве испуга, но я засмеялся протяжно, тихо и глухо, и во мне самом отозвался этот смех болезненно-странным, точно вопли какого-то другого, скрытого во мне существа. Мне хотелось бежать, скрыть-

ся от самого себя, от людей, от света, не думать, не чувствовать. И я пошел, упрямой волей сдерживая свое желание бежать и потому очень медленно, очень гордо поднимая голову. Проходя мимо горы, я с ненавистью и злобой взбросил глаза на старика: его вид заставлял меня страдать, так как он представлял живое отрицание того, что было во мне и моих мыслях, овладевших мной. Невыразимо противным он мне казался и я пошел быстро-быстро и, с видом чрезвычайно гордым и заносчивым, я стал анализировать свое состояние и факт появления как бы моего второго «я» во мне; мне казалось, что я вполне ясно разрешил задачу, вспомнив, что мозг человека состоит из двух одинаковых полушарий, и потому иногда получается как бы двойственность воспоминания и сознания. Постепенно рассуждения стали ободрять меня: ведь я снова попал в свою стихию материалистических индукций и дерзких выводов, и скоро я как бы окрылился. Не чувствуя усталости, я стал взбираться с одной горы на другую и, наконец, почувствовал, что я нахожусь в области вечного эфира, выше облаков, которые скользили где-то внизу, обвивая миниатюрные сосны точно тончайшей кисеи и — в других местах — неподвижно повиснув в воздухе розовато-сизым туманом. Мне казалось, что у меня недостает только крыльев, чтобы вполне чувствовать себя духом зла, и в душе моей поднялся смех — холодный, гордый, презрительный. Внутренне я перестал быть медиком и переродился в какое-то другое существо, а воспоминание о моих умственных бурях и преступлениях как бы отрывало меня от всего человеческого и земного.

Я шагал быстро по ровному гребню горы большими шагами, чувствуя необыкновенную легкость. Этому, конечно, способствовал разреженный горный воздух, обильно врывающийся в мои легкие и расходившийся по моим артериям и венам.

Не замечая, как шло время, я переходил с горы на гору, пока не очутился в прежней местности близ монастыря. Среди почти полного безмолвия продолжал раздаваться с колокольной мерный и ровный звон, призывающий «братию» в обитель. Я подумал, что тысячи лет раздается этот звон

над землей и человеческие волны двигаются на этот зов Незримого, задававшего одну и ту же загадку: отгадайте, кто я; миллионы Эдипов бросаются в бездну отчаяния, не разрешив сей загадки. Но я полагал, что разрешать здесь, пожалуй, и нечего: толпа — стадо, идущее на голос свирели.

Несколько монахов, идя мне навстречу, вдруг остановились и уставили на меня испуганные, недоумевающие взоры. Что их так удивило — не понимаю. Я дерзко вперил в них глаза и, должно быть, в моем лице было что-то особенное: они опустили головы и смиренно сложили на груди руки. Я быстро ушел от них и вдруг увидел стоявшего у подошвы горы пустытника, — белого старика. Неподвижно стоя на месте, он смотрел на меня своими светящимися, добрыми глазами так пристально, точно с глубины его глаз исходило какое-то второе зрение, проникавшее в глубину моего «я». Претензия знать, что происходит во мне, мне всегда казалась смешной странностью, и я хотел наказать слугителя Бога за такую дерзость. Я остановился против него и, презрительно прищутив глаза, начал в упор рассматривать его.

Так прошло несколько минут.

Старичок смотрел с сострадательной доброй улыбкой и с невозмутимым спокойствием, и я чувствовал, что бледнею. Во мне поднималась глухая злость, но я продолжал стоять, сохраняя все свое невозмутимое хладнокровие и важность.

— В вас великая гордость, достойный господин мой, большие претензии ума, и страдания ваши будут жестоки...

Он проговорил все это тихо, спокойно, с сострадательно-доброй улыбкой в лице, и в голосе его звучала грусть. Я постарался со своим обычным хладнокровием проговорить:

— Вы меня знаете, оказывается, довольно коротко...

Старик оставался неподвижен, продолжая всматриваться в меня с необыкновенным вниманием. Вместо ответа на мои слова он вздохнул. Смятение в душе моей вырастало в бурю, и я со сдержанной яростью резко отчеканил:

— Черт побери!.. Вы самый нелепый старикашка, какого я когда-либо видел.

— За восемьдесят лет мне, сударь. Господь умудрил меня опытностью и я вижу все в человеке. О, сын мой, вы на страшном пути.

— Серьезно!.. Как это понять прикажете?

— Вот вы резко как обрываете меня, старичка. Ни за что обидели, — сказал он и любовно улыбнулся. — Гордыми ученые люди стали и на вас вижу я, как справедливо изречение царя Соломона: «Где много мудрости, там много печали».

— А, вот что!.. Нет, вы про путь мой...

— Быть в великих грехах — страшный путь, государь мой.

— Вы откуда же это знаете меня?

— Прозреваю, — ответил он, пристально вглядываясь в мои глаза. — Мучения в вас и возрастать они будут. Говорю вам это потому, что мне вас жаль, — поверьте слабому старцу. Лютые, лютые мучения ожидают вас, сын мой, потому что вы высоко вознеслись в гордости мысли вашей, уверив себя: «Я умен, как Бог, для меня нет закона», и красуетесь пред собой, как злой дух на скале. Поймете безумие ваше, великое безумие, и боль почувствуете, раздирающую боль...

Он сложил свои маленькие, морщинистые руки на груди с выражением невыразимой грусти, склонил белую голову набок и его бескровные бледные губы расширились в любовно-печальную, сострадательную улыбку. К довершению моего удивления и досады, мне показалось, что в его ясных глазах блеснули слезы и покатались по морщинам. Выслушав все это, мне хотелось полным осмеянием наказать старика за его нелепое, невыносимое поведение. В груди моей заклокотало что-то, подступило к горлу, и вот я засмеялся, и смех этот испугал меня самого — то был тихий, шипящий и злой смех.

Старик горько покачал белой головой, приблизился ко мне и, положив руку на мое плечо, тихим голосом кротко проговорил:

— Мой дорогой друг, не сердитесь. Я, глупый старикашка, не могу выразить вам всей моей любви и, как Христос, успокоить одним словом. Вы не в состоянии меня теперь выслушать и понять — я знаю. Но вот я вам предсказываю:

начнется плач в вашей душе и вы станете искать Утешителя. Какого — вы догадываетесь. Он там. Вспомните обо мне тогда... Я здесь наверху этой башни. Я вас поведу к Нему с радостью, с великой радостью. Мы увидимся...

Он ласково закивал головой и, подмигивая добрыми глазами, стал отходить от меня. Никогда в жизни, ни в одном человеческом лице я не видел такого выражения — неземной приветливости, ласки и одновременно с этим сокрушения и кроткого упрека.

— Увидимся, — повторил он еще раз и скрылся за скалой, а я долго стоял на месте и в душе моей царил хаос, хаос чувств. Я не имею иначе назвать бурю, клокотавшую во мне. Там был гнев, ярость, чувство пробудившейся совести, незнание презрение к себе и желание убить все эти чувства осмеянием себя самого. Меня жгло, резало, кололо. Обесиленный всем этим, точно под давлением огромной тяжести, я опустился на камень и долго сидел так с глазами, устремленными вверх. Мои взоры тонули в голубой беспредельности эфира и я мысленно уносился все выше, и не видел конца, и меня все больше охватывало ощущение безграничности созданного Им, понимание мизерности, ничтожности всего того, что гнездилось во мне и что возносило так высоко мое гордое, ничтожное, истерзанное в муках самоанализа «я».

ХІІІ

— Вот моя голубка... бледна, бледна. Боже, какая она тоненькая и худенькая... Глаза ее ввалились и сверкают. Смотрите, о, смотрите, доктор. Вот она идет, склонив головку набок и едва прикасаясь слабенькими пальчиками к струнам своего инструмента... Ах, доктор, что вы с ней сделали!.. Вы не разбойник, вы образованный врач, но если бы мне удалось вас повесить или удавить, я счел бы себя благодетелем человечества.

Окончив эти любезные слова, старый князь дико захохотал. Тамара, стоя близ мужа, не поднимала своих длинных опущенных ресниц и ее зрачки были сосредоточенно устремлены вниз, в одну точку в то время, как лицо выражало неподвижность холодного мрамора. Да, она была бледна и я знал, почему она приняла такой лицемерно-смиранный и важный вид: она скрывала поднявшееся озлобление в душе своей и делала усилие подавить воцарившийся хаос. О, я это знал и втайне любовался ею. Сказать ли вам — мне доставляло удовольствие соперничать с нею в умении владеть собой и принимать вид холодной статуи. «Полубуйтесь и мной, милая княгиня, — думал я, — и поймите, что в моем лице вы нашли неодолимого для вас борца». Я полагаю, что мой вид был восхитителен. Воля — вот сила, перед которой даже олимпийские боги почтительно склоняли свои головы, хотя бы обладатели их сильно напоминали чертей.

Я что-то ответил князю на его любезное желание повесить меня с грациозной насмешливостью и так хладнокровно, что он, внезапно сбитый с позиции, с недоумением поднял руки, воскликнув:

— Черт побери!.. Не понимаю я вас, умный человек и черт стали неразличаемы в наше время. Надо бы мне вас раздеть и посмотреть, нет ли у вас хвоста.

Он снова дико захохотал, но сейчас же умолк, как только Тамара раскрыла свои уста, чтобы сказать следующее:

— Ах, Евстафий Кириллович, как ты можешь так хохотать, не понимаю. Посмотри на нашу бедненькую Нину; я ничего не видела трогательнее.

Мы все начали смотреть на бледную больную девушку, вид которой действительно мог растрогать самое холодное сердце. Головка ее с рассыпавшимися кудрями склонилась на грудь. Она шла, едва дотрагиваясь слабыми пальцами до своей мандолины, и инструмент издавал слабый звон, точно стон больного.

Она шла к дому, где мы стояли под ветвями развесистого кипариса, не замечая нас. Пройдя еще несколько шагов, она вдруг остановилась, вздрогнула, взглянула на мгно-

вание на меня загадочными, странными глазами и, глубоко вздохнув, быстро подошла к отцу и с необыкновенной грацией положила на его плечи руки.

— Ах, папа, папа!.. Скажи мне, что такое наша жизнь. Не особенно ценный это подарок со стороны милосердного Господа Бога. Было бы больше милосердия, если бы он не давал его совсем. Или я очень грешна и Создатель осудил меня на медленную казнь, или мир недостоин меня, я попала в нехорошее место. Мне больно, милый папа, меня колют злыми словами в самое сердце и со мной происходит что-то страшное. Я хотела бы умереть.

Она припала головой к плечу отца.

— Голубушка, не плачь.. Ах, ты убиваешь меня... Мое сердце разрывается. Доктор, сделайте чудо: устройте, чтобы моя дочь перестала страдать.

«Да, я это сделаю, — мелькнуло в моей голове, — и скоро, скоро она успокоится навсегда», и <я> громко проговорил:

— Ваша дочь — идеалистка чистой воды и против этой болезни духа медицина бессильна. Она высказывает странные идеи, но не удивляйтесь ее словам: душевнобольные все одинаковы: мир — гробница, люди — черти, и все в этом роде. Как прикажете лечить ее? Рассеять пессимистические воззрения медицина не может и мне приходится только с грустью выслушивать ужасные мнения вашей больной голубки обо мне.

Девушка сделала нервное движение и дрожащим, как оборвавшаяся струна, голосом проговорила:

— Вы ошибаетесь, доктор: меня легко вылечить и слушайте, как: утром и вечером всего понемногу — только не микстуры, конечно, а простых, добрых слов, которые бы исходили из сердца. Вы не можете мне дать этого чудного средства, потому что в вашем сердце царит вечный холод, как на полюсе, и вокруг вашей шеи обвилась змея... красивая, с женским телом.

По ее бледным губам пробежали конвульсии и она захохотала тонким дребезжащим смехом.

Мое положение становилось критическим; но вдруг, к моему удивлению, княгиня совершенно спокойно сказала:

— Ты видишь, Евстафий Кириллович, наша больная девочка фантазирует совершенно невинно: очевидно, такая особа — змея с женским телом — существует только в ее воображении. Можно смело сказать, что такое существо никогда не обвивалось вокруг шеи нашего любезного доктора.

— В самом деле, деточка, что за странные мысли у тебя?

— Ах, папа, папа, ты прост, как ребенок. Надень очки и смотри хорошенько; если же не досмотришь чего глазами, посоветуйся со своим рассудком. Женщина эта — обольстительна, не спору, но она — злодейка, и ты засыпаешь под ее лживые слова любви так крепко, что не видишь и не слышишь... Заснем лучше навеки с тобой... Право, папка — на небе лучше... Нам нечего с тобой здесь делать, переселимся в иной мир... Слушай, что я тебе скажу, мой несчастный старичок: мир — печальная темница озлобленных, жалких, страдающих грешников и безумцев. Мне всех жаль, они все страдают, — так говорил старый отшельник и, говоря это, плакал. Множество грехов делают невозможным счастье. Одни торжествуют, другие плачут, но все несчастны. На небо, папа! Негодовать на злых — зачем? мне их жаль... Слушай, мне припоминается песенка, которую все здесь распевают в Тифлисе и которая разносится по горам и ущельям. В ней воспевается мальчик-убийца. Слушайте и вы, доктор, и вы, моя прекрасная *maman*. Я пою.

Она запела и из-под ее пальцев полился тихий печальный стон. Странная иллюзия; мне казалось, что это звучат нервы ее собственного сердца. Она пропела дикую песенку:

Отца я зарезал,
Мать свою убил.
Младшую сестренку
В море утопил.
Погиб я, мальчишка,
Погиб навсегда;
Год за годами
Проходят века.

— Как мне жаль этого мальчика, папа. Он зарезал отца, убил мать, утопил сестру. Может ли быть существо более несчастное, нежели этот мальчик-убийца! Можно воскликнуть: «Как он гадок, как он зол» — в этом можно ошибиться; но скажите: «Как он несчастен, бедный мальчик», и вы скажете правду. Кроме глубокого несчастья, ничего и нет. Нам не жаль его зарезанного им отца, его матери, утопленной им сестры: что же такое, смерть — общий наш удел, а мальчика-убийцу мне жаль сердечно и я плачу, когда слышу эту песенку... Папочка, вот послушай дальше, и вы, доктор, и вы, татап, — вы сами согласитесь, что преступники гораздо, гораздо несчастнее тех, которых они убивают. Слушайте:

Синее море
Белый пароход.
Сяду и поеду
Прямо на восход.

— В Сибирь, конечно, — проговорила она и, пристально взглянув на меня, продолжала:

Посмотрю направо,
Мать моя стоит

— Надо полагать, что его преследует призрак его матери...

Горько, горько плачет.
Прощай, он говорит.

— А у вас, доктор, была ли мать?

Слезы блеснули в ее глазах, но она пересилила себя и, окончив повторяющийся припев: «погиб я, мальчишка» и так далее, с особенной выразительностью и силой в голосе, глядя попеременно на меня и Тамару, окончила свою песнь:

Серая свитка
И серый картуз,

Голова обрита
И бубновый туз.

Она ударила по струнам и зазвучал последний аккорд; чувствовалась дрожь во всем ее тоненьком теле; она впирила в меня свои чудные глаза с необыкновенным выражением. С глубины этих глаз, казалось, исходил леденящий ужас, упрек, бесконечная жалость и как бы светилося горькое осмеяние. В замирающем дрожании струны мне слышались слова: «бубновый туз». Я чувствовал, что бледнею и теряю самообладание, как преступник, с лица которого сорвали маску. Я взглянул на княгиню. Она изменилась до неузнаваемости. Самое удивительное — это то, что в ее лице, несмотря на всю его прелесть, мне виднелся убийца. Оно как бы застыло в конвульсиях озлобления; глаза погасли, точно вошли в орбиты, и смотрели с боязнью и ненавистью. Она глухо проговорила:

— Евстафий Кириллович, ты должен отвечать за поведение твоей безумной дочери. Что означает эта глупая песня?

Старик вздернул кверху свои плечи и, нагнув голову, стал попеременно смотреть на нас. Испуг и недоумение явно отражались в его круглых глазах. Он, видимо, начинал кое-что понимать.

— Дитя мое, что означает эта песенка?

— Ничего, папочка, кроме того, что она означает. Доктор, вы полагаете, что вы умнее всех, — ах, не верьте этому. Чтобы сделаться самым несчастным из людей, не надо ума. Мне жаль мальчика-убийцу — вот все. Не мертвых я сожалею, а живых с пылающим огнем в груди. Мама, не сердитесь, я не мешаю вам... Наслаждайтесь, если можете и если совесть хорошо похоронена в вашем сердце. Я уйду, добровольно, с охотой уйду... Не соперничать же мне с вами... Для этого я слишком горда и великодушна... с небес я буду смотреть на вас и... плакать горько...

Она закрыла лицо руками и стала быстро отходить от нас, не переставая плакать.

— Что все это означает?! — вскричал старик вспльщиво и испуганно, попеременно взглядывая то на меня, то на

свой жену. Вспыльчивость все более овладевала им и круглые глаза его расширились и засверкали.

— Я вас подозреваю в шашнях, — черт вас побери! Вы не доктор — <вы> модный мазурик и, если вы не оставите мой дом, я пошлю за полицией. Мне показалось, что моя дочь намекала на вас. Что вы сделали с ней!.. Я в суд подам!..

Он подступил ко мне, сжав кулаки. Я видел, что надо действовать решительно и охладить этот вулкан, и я произнес:

— Послушайте, скажите на милость, что у вас за мания так дико нападать на человека и громоздить нелепость на нелепости? Это доказывает полную атрофию воли. Ваши дерзости нисколько не обидны, а только смешны и потому по адресу не доходят...

— Да, я с вами голову теряю! Кто вы такой — ученый медик или пройдоха? Простите ради Бога, вы мне кажетесь попеременно то тем, то другим. Что вы сделали с моей дочерью?..

— Ваша дочь... Послушайте, да неужели же вы не замечали, что еще задолго до моего появления в вашем доме ваша дочь была... помешана...

Старик уставил на меня свои глаза с невыразимым изумлением. Он имел вид человека, которому внезапно открыли ужасную истину.

Прошло несколько минут молчания.

— Как странно, что вас это удивляет...

Я отошел с холодным и гордым видом. Господа, не удивляйтесь моей низости: сознание преступления вообще вносит в душу человека особенный диссонанс, как в комнате, наполненной криками бесноватых; но человек, которого уличают в нем, походит на змею, на которую наступили ногой: она шипит и жалит.

— Ах, Евстафий Кириллович, да ужели ты этого не видишь сам? Ну подумай, не будучи помешанной, возможно ли говорить такой вздор, какой только что произнесли уста нашей несчастной Нины? Она помешана, мой бедный Евстафий, все мы это прекрасно давно уже видим. Как было

тебе сказать, что наша бедная Ниночка лишилась рассудка? Ах, Евстафий!.. Я очень опасюсь, что в конце концов ее все-таки придется отправить в сумасшедший дом, хотя это навсегда омрачит мое существование...

Стоя в отдалении, я видел, как княгиня склонилась к своему мужу и начала проводить руками по его огорченному лицу. В этот момент издался отчаянный, конвульсивный хохот Нины. Я понял, что она все слышала, так как вслед за этим в просвете деревьев промелькнула ее тоненькая фигура. Минуту спустя, я снова увидел ее: она уходила, закрыв руками лицо.

— Безумный хохот и безумные слова, — спокойно проговорила Тамара.

Старик рыдал.

Тамара снова начала его утешать и успокаивать. С каким неподражаемым искусством она это делала: я просто стал любоваться ею. Когда же, склонившись к нему, она начала его гладить по голове, как ребенка, он окончательно впал в блаженное состояние загишнотизированного и стал улыбаться сквозь слезы. Я презирал его от души. Одно сладострастие пылало в нем неугасаемым пламенем, выжигая все остальные чувства, не исключая и самых священных — родительских. Под влиянием Тамары он превращался в паяца, годного только забавлять нас обоих.

Мое уединение мне надоело; приблизившись к ним, я стал в позу оратора и начал импровизировать на тему об ужасном положении медиков, которым часто, по невежеству, вместо добра воздают злом. Затем, перейдя к его дочери, я должен был с прискорбием констатировать факт ее умственной ненормальности. Я снова почувствовал себя сильным и спокойным и бес гордости и зла снова овладел моим умом и сердцем.

Как это, однако, быстро рассеялось мое недавнее мятежное настроение, которое вполне можно было назвать болезненным. Оно прошло, как проходит ужас перед белым привидением вместе с рассветом. Я полагал, что все наши «ужасы и страхи» и болезни духа не получают оседлости даже в сердце убийцы, а овладевают им, как пароксизм, и если у

человека есть воля, то они оставляют его навсегда. Природа действует, как хищная птица: нападает только на слабых. Что ж, я готов с ней побороться и посмотрим, кто победит. Железная воля — всепобеждающее божество. Сократ, Будда, Магомет и Моисей — что такое, как не воплотившаяся, просветленная разумом воля? Это звезды, светящие над миром, в фокусе которых пылает светоч воли их творца. Вы скажете, что этот свет — свет мысли и истины. Нет, я положительно с вами не согласен. Всякая идея, изшедшая из головы хотя бы самого дьявола, но заключенная в броню всеувлекающей воли, может сыграть роль солнца, внезапно озарившего мир. В глазах людей она будет истиной, пока не зажжется новая звезда, свет которой уничтожит сияние первой. В сущности, существуют только идеи, которые или царствуют, как монархи, или развенчаны, как низвергнутые цари; но истин никаких нет. Надо иметь волю, чтобы вдунуть в голый остов мысли пламя своего духа, и она превратится в звезду истины. Магомет это сделал с дешевыми идеями, которые зажглись над миром, воспламеняя сердца миллионов. Повторяю — одна воля всевластное божество, злая или добрая — безразлично, и потому дьявол и ангел попеременно увенчиваются короной и порфирой мира.

Я чувствовал себя прекрасно и продолжал свою игру с князем и его женой. Во время обеда было много гостей и я острил, как никогда. Я видел, что дамы положительно увлекались мной и находили меня загадочно-интересным. Тамара попеременно бледнела и краснела, и в ее глазах как бы выражалась фраза: «Что ты за человек, знаю одна я, но как бы ни было — ты восхитительное чудовище». Надо добавить к этому, что любить такое чудовище льстило ее самолюбию и раздражало ее воображение и страсть.

Во время обеда бедная дочь князя отсутствовала по неизвестным причинам. Прошло несколько часов и все с беспокоеством заговорили, что ее исчезновение представляется все-таки очень странным. Вдруг кто-то произнес фразу, заставившую всех беспорядочной толпой выбежать в сад.

XIV

— Княжна утопилась! бегите к озеру!.. бегите к озеру!.. утопилась!..

Все эти фразы: «утопилась, бегите к озеру» и так далее, изшедшие сначала из уст одного из лакеев, стали повторяться гостями в то время, как все они беспорядочной толпой бежали по направлению к озеру. «Как это она могла утонуться, — я не верю». «Ах, не говорите, на свете все бывает, самое невозможное». «Бедняжечка, если это так! Но в таком случае она, конечно, была влюблена». «Любовь, любовь!.. верьте мне, одно только это чувство может побудить девушку ее лет лишиться себя жизни». «О, этот загадочный медик... в его лице что-то фатальное... я предчувствовала беду».

Прислушиваясь ко всем этим фразам, я подумал: «Милая княжна оказала нам последнюю любезность — сошла с дороги, не желая нам мешать, великодушно и гордо. Я всегда находил, что она была создана для небес, а не для этого мира — развернула крылышки и улетела. Одна искра любви ко мне обратила это хрупкое тело в пепел. В моем сердце нет жалости, я изгоняю ее... Кто я? Убийца, созерцающий мир сквозь призму отрицания. Кандинский, Кандинский!.. Мне иногда кажется, что я последний из людей... Лгу!.. Я воин в царстве мысли».

Иронизирующее направление моих рассуждений внезапно оборвалось. Колесо мыслей моих в моем мозгу повернулось в обратную сторону и точно обручем сдавило мой череп. На бегу меня качнуло в сторону, точно сильным порывом ветра. Невыразимо гадливое чувство к самому себе вызвала мысль убить себя, в то время как в воображении моем стоял образ девушки, которая, ударяя по струнам, пела надтреснутым голосом и точно дразнила меня своей последней фразой: «Голова обрита и бубновый туз». Казалось, в самом моем существе звенела струна, звенел ее голос, и звон этот отдавался в мозгу, звучал в воздухе... Я бежал наряду с другими и хотел бы вечно бежать; в уме моем промельк-

нула дикая фантазия: мне хотелось, чтобы все вокруг меня превратилось в хаос, чтобы все закружилось и почернело и выюга и ветер понесли бы меня в бесконечную даль и я бежал бы, обезображенный страхом, но невидимый ни для кого. Среди такого необычайного для меня настроения в уме моем все-таки пробегала насмешливая мысль: все преступники большие фантазеры; очевидно, рассудок оставляет их и очевидно, что я охвачен пароксизмом, о котором недавно думал. Эта мысль была молнией среди ночи: в глубине моего существа что-то рассмеялось, мне захотелось силой характера овладеть собой и, остановившись, я прислонился к дереву.

Мимо меня пробегали все гости — грузинские дамы и князья. Их лица выражали испуг и любопытство и странно мне показалось, что все они как бы повеселели. Что ж, это понятно: жажда зрелищ всегда таится в этом звере, имя которому — толпа; балаганный шут и зрелище казни — то и другое пробуждает этого зверя потехи. Мне трудно было решить, какое выражение преобладало в данное время в лицах гостей: ужас или удовольствие, испытываемое ими вследствие ожидания увидеть эффектное зрелище смерти. Я подумал, что я один умею презирать своих ближних искренне и глубоко, и в этом был совершенно прав.

Дамы шли вприпрыжку, приподымая на ходу свои платья и, неизвестно зачем, шуршащие юбки, и это раздражало меня и злило. Какой-то господин споткнулся о камень и глупо рассмеялся; я искренне пожелал ему всего скверного. Но вот я увидел отца жертвы моих замыслов: он бежал, с каждым шагом как бы падая на палку. Лицо его было в слезах, оно искажилось отчаянием и как бы смеялось. «Шута я превратил в трагического героя и увенчал розами. Теперь он зверь одинокий, вечно вздыхающий и печальный».

«Это ты все сделал, Кандинский, ты, ничтожнейший из всех убийц».

Призрак совести заглянул мне в глаза, и в душе моей простонал, заохал, засмеялся протяжно, жалобно, отвратительно. Мне хотелось броситься лицом в траву, рыдать и рвать грудь ногтями; но какой-то другой голос во мне зло

осмеивал меня.

— Какое у тебя лицо, Кандинский.

Предо мной стояла Тамара. Она была бледна, но спокойна, и ее вид был даже как-то торжествен. Мне показалось, что она смотрит на меня с презрением и насмешкой.

— Я не ожидал от вашей падчерицы такой быстрой разделки с жизнью. Меня ужасает этот неожиданный подвиг — броситься в воду.

— Прохладная смерть — сознаюсь, но я не ужасаюсь, а совсем напротив... посмотри, я весела...

Она посмотрела мне прямо в глаза, точно желая заглянуть в глубину моего сердца.

— Ее уже нет — ну что ж, очень рада. Заметь, Кандинский, мы невинны как голуби, а между тем, наш путь к блаженству, независимости и богатству укоротился на всю длину ее ела. Ты, однако, очень бледен, ты, который одинаково презирал жизнь и смерть. Ведь по твоим понятиям человек — инструмент... ну вот, лопнули струны — арфа больше не поет, вот и все...

— Ты не понимаешь, моя смелая Тамара, одного...

Мне ее хотелось позлить, и я продолжал:

— Этим подвигом она доказала, что инструмент этот слишком возвышенно пел всего одну песенку: любовь к моей скромной особе. Ни одно существо в мире не могло бы меня любить более пламенно и чисто. В этой жалкой машине, называемой человек, меня всегда поражало одно — самоотречение и великодушие, хотя я умею охлаждать свою чувствительность и понимать: человек — машина, все его ощущения — нервы, его душа — фикция, а сердце — мясо. Да, она меня любила и теперь, когда ее нет, я сожалею, что отплатил ей не взаимностью, а жестоким замыслом принести ее в жертву твоего освобождения...

Тамара нахмурила брови.

— Твои слова мне не по вкусу, мой друг. Можно подумать, что ты сожалеешь, что именно она из любви к твоей особе погрузилась в холодные волны озера, а не я. Я никогда не дойду до такого сумасбродства и так как ты, видимо, сожалеешь, что заключил со мной союз приносить крова-

вые жертвы в лице твоих пациентов, то я могу предложить... расстаться...

Ядовитая насмешливость светилась в ее глазах и звучала в переливах голоса.

— Я даю тебе то, что прежде так часто ты мне сам предлагал: расстанемся. Ты пойдешь направо, я — налево, вот все.

— Гм... Это действительно очень просто, — проговорил я сдержанным и холодным тоном в то время, как в груди моей что-то болезненно заныло. — Мне ничего не стоит одним движением разорвать и свое, и ваше сердце, хотя бы из него пролился пламень самой чистой любви. Я — Кандинский, но ты только Тамара, которой и останешься.

Я видел, что Тамара вступает со мной в своего рода единоборство и нарочно бросает мне слова, которыми прежде я так часто ее дразнил: во что бы то ни стало, но надо было принять вызов. Я холодно поклонился ей и, не спеша, направился вдоль аллеи. До меня донесся ее голос:

— Кандинский, даю вам последний совет: поспешите на место трагического события. Медик должен быть всегда на своем месте, там, где смерть, как воин на поле битвы, а вы плететесь, как черепаха. Бегите же, бегите...

Я не побегал, напротив, пошел еще тише.

Скоро в просвете ветвей блеснула голубоватая поверхность озера и показалась лодка, крутящаяся на одном месте. Разнообразные звуки — шум воды, как бы от падения в нее человеческих тел, чье-то рыдание, испуганные голоса и разговоры — все это все громче и громче стало доноситься до моего слуха.

Убедившись, что несколько не опоздал, я заглянул в глубь самого себя и с удовольствием резюмировал факт моего полного душевного спокойствия. Кандинский таким и должен быть, если хочет олицетворять собой идеал, который всегда жил в его воображении. Немного жестокий он — но что делать? Мысли о несчастной утопленнице меня не терзали больше; впрочем, это понятно: Тамара меня поставила лицом к лицу со своей гордостью и решительной волей. Моя собственная пробудилась с удвоенной силой.

Я подошел к берегу озера.

Против меня возвышался гигантский камень, на котором с мандолиной в руке так часто приходила сидеть милая княжна и где она пела мне в последний раз свою лебединую песнь. Все прошлое ожило в моем уме, но сердце мое оставалось пустым и холодным.

На берегу стояли знакомые несчастного князя с перепуганными лицами, но с глазами, любопытно устремленными на пловцов, которые продолжали безрезультатно нырять в воду. Лодка вертелась и раскачивалась во все стороны, потому что усталые пловцы часто хватались за ее борт.

Вдруг я увидел странный предмет: знакомый мне инструмент — мандолина — вертелась по волнующейся поверхности озера в разные стороны. Иногда она ударялась о камни, торчавшие в разных местах — тогда инструмент звенел всеми струнами и мне казалось, что в этом звоне слышались боль и вопль истерзанного сердца невинной, несчастной Нины.

На берегу озера, окруженный своими родственницами-дамами, стоявшими так неподвижно, что издали их можно было принять за черные привидения, на камне сидел отец погибшей девушки. Палка, на которую он опирался, ходила во все стороны в его руке, он качал седой головой и крупные капли слез текли по его лицу. Он имел убитый и ужасный вид, но мое внимание в данный момент привлекал не столько он, сколько дряхлая старуха, которая, расположившись у его ног, буквально каталась по земле, охваченная отчаянием и горем. Жидкие пряди белых волос, рассыпавшись по земле, цеплялись за колючки и рвались, рвалось ее платье, на лице краснелась кровь. Ничего этого не замечая, она рыдала в отчаянии, временами упоминая мое имя и призывая на мою голову все громы небес.

Вдруг, заглушая ее слова, раздались единодушные крики. Князь привстал со своего камня, старуха приподнялась, присутствующие заволновались и, расширив свои глаза, стали смотреть в одну точку — на озеро.

Да, там виднелась длинная, тонкая фигура несчастной самоубийцы в белом, прилипшем к телу платье, с черными

прядами волос, обвивавшими ее, как холодные змеи. Безжизненное, вялое тело тянулось за пловцами, образуя на воде широкие, быстро расходящиеся бороздки, голова уходила в воду, как оторванная. Моментами, покорное движением пловца, ее тело переворачивалось в воде и снова покорно тянулось за человеком, извлекшим ее со дна озера.

Вдруг произошла чрезвычайно странная случайность. Носившаяся по воде мандолина зацепилась за скорченные окоченелые пальцы ее рук, тянувшиеся в воде, как увядшие лилии. Инструмент издал слабый звон и потянулся с телом к берегу. Мало ли каких случайностей не бывает на этом свете; но, как бы ни было, я не мог отогнать от себя странной мысли, что инструмент отозвался на тайный зов блуждающей в пространстве души Нины и ответил ей звуком сочувствия и печали.

Тело качалось у самого берега в водорослях, и я решительно ступил несколько шагов, расталкивая толпу, придавая себе такое выражение, которое бы ясно говорило всем: вы видите, господа, я человек, профессия которого обязывает его спасать умирающих и погибающих, и я никому не позволю дерзко врываться в область его священной специальности.

Из травы показалось морщинистое, как кора источенного червями дуба, со злобно устремленными на меня маленькими глазками, лицо отвратительной старухи. Она приподняла кулаки, потрясла ими в воздухе и, безобразно искривляя широкий рот, могильным голосом проговорила по-грузински:

— Душегубец! Лечи своим снадобьем разбойников, таких, как ты сам... Не смей прикасаться к моей детке... Ты мошенник, ты злодей, ты чума!.. Будь ты проклят!..

Я повернулся к толпе с гордым, холодным и протестующим видом и, указывая на старуху, твердо проговорил:

— Господа, я не знаю, чем я мог вызвать такой припадок ярости в этой дряхлой особе; но, как бы ни было, вы — просвещенные люди — не позволите мешать медику испробовать все известные науке средства, чтобы вернуть к жизни это холодное тело несчастной самоубийцы...

Бурные возгласы заглушили мои слова. Интеллигентные дамы и отчасти их мужья одобрительно закивали головами; но простые обитатели гор, сохранившие более здравый ум, подняли дикий крик, протестуя против всякого вмешательства доктора. Они были искренне предубеждены против нас, медиков, и вполне уверены, что для оживления утопленницы самые действительные средства: откачивание, оттирание и так далее. Мне оставалось только с недоумением пожать плечами. Но я не успел еще этим жестом выразить свое недоумение, как за мной раздались глухие отрывистые звуки рыдания и хохота одновременно.

Предо мной на дрожащих ногах, опираясь обеими руками на палку, стоял князь. По лицу его текли слезы; он как бы давился ими, но в то же время из его рта, мешаясь со звуками плача, исходил хохот, и все мускулы его лица передергивались и плясали в двойственном выражении рыдания и злого смеха.

— Негодяй!.. Я знаю все... Ты отравил моего сына... Через тебя утопилась моя дочь...

К счастью, эта брань, направленная по моему адресу, исходила из его уст в виде какого-то бормотания, так что можно было поручиться, что никто ничего и не понял из его слов: его сердце было слишком переполнено.

В это время толпа направилась к берегу и десятки рук распростерлись над водорослями, желая принять приподнятое над водой тело девушки.

Ее положили в простыню и начался процесс откачивания.

Моя роль была незавидной, так как мне оставалось только стоять, смотреть и слушать. Несмотря на это, я скоро сообразил, что нахожусь, в сущности, в самом выгодном положении. Ведь воскресить несчастную Нину я все равно бы не мог, даже если бы желал этого вполне искренне, так что в результате подорвал бы только свою репутацию. Теперь совсем другое дело. Как только «все эти люди» убедятся, что жизнь безвозвратно и навсегда отлетела из этого молоденького тела, — о, тогда я сумею явиться перед этой толпой не только разгневанным медиком, но и актером. Пос-

молчите, что выйдет.

— Не кладите ее на траву... Бога ради, не прекращайте ее качать... ах, Боже мой!..

Старик плакал и смеялся, как помешанный, и с видом отчаяния, то подымая руки кверху, то ломая их, не переставал кружиться среди толпы.

— Не горюйте, князь, не отчаивайтесь, Господь велик и возвратит вашу дочь...

— Качайте только, ради Бога!..

— Моя пташка, моя рыбка... Посмотри на свою старую няню... Ах, мне легче сто раз умереть самой, нежели видеть тебя в гробу... в гробу, в гробу!.. Мое сердце разорвется от горя, когда увижу тебя там... Закройтесь, мои старые глаза... навеки, навеки...

Она посмотрела на какого-то грузина в черкеске и продолжала:

— Добрый князь, скажите же мне на милость: может ли у человека в сердце быть жаба; только тогда я пойму причину ядовитой злобы этого доктора-змеи... Горе делает меня безумной и я не знаю, что говорю... Я ногтями вырою себе могилу, если умрет моя детка...

Она затихла, голова ее склонилась на грудь и вся ее фигура, с поджатыми под себя ногами, напоминала труп человека, застывшего в выражении бесконечного горя и уныния.

А князь продолжал выкрикивать безумно-визгливым голосом: «Качайте же, качайте», не переставая кружиться. И всюду раздавались голоса и выкрикивания, а холодное тело Нины подлетало вверх и снова падало в простыню, и тонкие бледные руки ее при этом взбрасывались над головой с видом бесконечного ужаса и отчаяния, пронзившего ее сердце при жизни.

В это время я, Кандинский, стоял, прислонившись к кипарису, в позе хлыща, положив ногу на ногу и, грациозно держа в руке сигару, пускал кольца дыма, созерцая, как он расходится над моей головой. Нет сомнения, что мой вид производил бы впечатление не только фата, но и глупца, если бы не настоящие условия, благодаря которым он вы-

зывал совсем другое чувство: какой-то зловещей тайны, сокрытой под беспечной наружностью. Действительно: взоры моих знакомых все чаще начали перебегать от тела утопленницы к моей особе и, замечая это, я подумывал: «Кандинский, ты восхитителен и вызываешь ужас не даром; железной волей ты победил в себе многое и восторжествовал над людьми. Среди людей ты полубог, потому что человек, живущий в мире холодных идей и силой воли уничтоживший чувство — гений или демон, но только не простой смертный».

Вдруг я увидел Тамару. Она стояла невдалеке от меня под другим деревом, но, увы, не одна: рядом с каким-то молодым, чрезвычайно красивым господином в белой черкеске и с кинжалом на серебряном поясе. Он был высок и строен, в глазах выражалась удаль, а в очертании рта с яркими губами — чувственность и насмешка.

Склонившись к плечу Тамары, он что-то ей нашептал, но она, казалось, его не видела и не слышала. Она стояла недвижимо с широко раскрытыми, с ужасом устремленными на свою мертвую падчерицу глазами и с лицом бледным, как у самой утопленницы.

Был момент, когда наши глаза встретились. Она содрогнулась и голова ее склонилась к плечу незнакомца. Мне казалось, что она была охвачена не только ужасом, но также и желанием пококетничать и вызвать ревность во мне. Если так, то она достигла цели: беспокойство при мысли потерять ее охватило меня внезапно и змея ревности жалила мое сердце. Мертвая бедняжка, Нина, для меня как бы вторично умерла.

— Ах, она мертва, мертва! Не качайте ее больше, она мертва... Бедная моя малютка, я и тебя похороню. Никого у меня больше нет — никого, никого, никого!

Старик рыдал, покачиваясь на своем камне, с видом такого отчаяния, что многие перевели свои сочувственные взоры от мертвой дочери на живого отца.

— В самом деле, не довольно ли ее откачивать?

— Да, да, ведь ни малейшей надежды нет... Согласитесь, господа, надо оставить.

— Ах, не ломайте ей руки... Положите мою голубку, пусть она спит... Не мучайте... Мне кажется, что она уснула... Сердце мое порвалось... Умру и я... положите нас обоих под один камень... Мы будем спать, спать... А жена моя и доктор пусть живут...

При последнем восклицании старика Тамара вздрогнула и, в порыве мгновенно охватившего ее гнева, порывисто сделала несколько шагов к старику и остановилась, сверкая глазами.

Он поднялся с камня на дрожащих ногах:

— Ты, ты... да... прелюбодейка!..

По лицу его текли слезы, но глаза вспльщиво смотрели на жену: ревность вспыхнула в нем несвоевременно, именно, когда его сердце изнывало в отчаянии. Тамара находилась в самом критическом положении. Во чтобы то ни стало, надо было ее выручить.

В этот момент люди, откачивавшие тело, остановились в нерешительности, видимо, раздумывая — не прекратить ли им свои попытки.

Я рванулся вперед и стал близ толпы между князем и его женой.

— Господа, простите меня, я не могу удержаться от чувства натурального негодования. Вот поистине прискорбный факт людского невежества и, так как он повлек за собой смерть этого несчастного чистого создания, то позвольте мне, отстранив от себя всякую излишнюю деликатность, заклеить этого почтенного родителя несчастной девушки словами: невежда и глупец.

От неожиданности старик содрогнулся и, раскрыв рот, стал смотреть на меня.

— Вы все, господа, поддерживали этого старца и способствовали устранению меня, медика, от моей обязанности.. Была коротенькая борьба между светом науки и тьмой невежества. Последняя победила. Что ж, торжествуйте: горькие плоды неуважения к знанию пред вами: это холодное мертвое тело...

С трагическим жестом указав рукой на мертвую девушку, я добавил:

— Вы — убийцы. Не желая маскировать горькой истины, повторяю: вы ее убили.

Эффект был поразительный.

Не только те, которые о моем искусстве медика были самого возвышенного мнения, но даже мои враги — князь и отвратительная старуха — не решались разразиться диким гневом; своими словами я вызвал укоры совести во всех этих людях, вообразивших теперь, что именно они виновники смерти девушки. Наблюдательно посматривая на лица присутствующих, я увидел Тамару: она смотрела на меня благодарными и какими-то испуганно-восхищенными глазами. «Чудовище», видимо, выростало в ее мнении и против воли влекло за собой.

Вдруг произошло удивительное событие.

Старуха, припавшая с катящимися по лицу слезами к утопленнице, которую только что опустили на землю, всплеснула руками и воскликнула с невыразимой радостью:

— У нее краска в лице... Она оживает... Качайте ее... Не верьте, что говорит этот проклятый доктор...

На одно мгновение волнение сделалось общим; но я с холодным смехом громко проговорил:

— Старуха с ума сошла и говорит в бреду. Вы готовы верить даже помешанной.

Я чувствовал, что в это время приобрел какую-то таинственную власть над всеми этими добрыми людьми, что было, как я полагаю, результатом высшего напряжения воли. Мои движения приобрели особенную властность и голос мой был так тверд, что почти звенел. Несколько моих слов охладили чувства толпы, убедив ее, что старуха помешалась и что девушка перестала существовать. Я сам был уверен в этом, но мне хотелось доиграть свою роль до конца и я проговорил:

— Сомневаться в ее смерти может разве невежда, но на нашу долю медиков часто выпадает жестокий жребий: недоверие. Спешу рассеять это чувство, если оно есть у кого-нибудь.

Минуту спустя, с электрическим аппаратом в руках, я стоял у тела Нины.

Как она была прекрасна в своем ледяном молчании, с обнаженной застывшей грудью, с раскинутыми тонкими руками и с чудным беломраморным лицом, вокруг которого далеко были разбросаны черные волосы! Заходящее солнце золотило ее тело красновато-пурпурным отблеском, точно Аполлон, очарованный ею, разбросал по ее телу пышные розы. С минуту я любовался ею, низко склонившись к ней.

Вдруг, к моему ужасу, я увидел тоненькие струйки воды, сбегавшие с ее стиснутого рта. Вглядываясь в нее пристальнее, я заметил, что под тонкой кожицей ее лица краснелась едва уловимая алая краска. Я склонился ухом к ее груди: ее сердце слабо билось. О, без сомнения, она была жива. Моя бедная пациентка, жертва любви ко мне и жертва моих замыслов, приговоренная мной к смерти.

В первое мгновение мне хотелось бежать от нее и закричать: «Возьмите ее, спасайте ее, вырвите ее из моих рук, рук палача», но мысль, что она будет спасена не мной и будет знать и будет думать, что я желал иного исхода — ее смерти — мне показалась еще более ужасной и мгновенно уничтожила мой внезапный порыв. Мысль, что я давно уже «убийца», подняла во мне прежнее холодное озлобление и в моем воображении явился я сам, Кандинский или, правильнее, созданный мной идеал доктора, и странно, я сразу почувствовал себя таким, каким хотел бы быть, — холодным и бесчувственным. Неудивительно, поэтому, что самая простейшая мысль — спасти ее силой моих знаний — именно эта простейшая мысль, проскользнув в уме моем, как-то вдруг пропала бесследно. Во все предыдущее время злая воля моя шла, возрастая, и теперь продолжала царить во мне, разгоняя все светлые мысли, как мрачный дух прогоняет от входа в черный хаос ангела мира и истины. Злая воля господствовала во мне, как полновластный деспот, позволяя думать и чувствовать только в одном направлении.

Вдруг мои взоры упали на аппарат, находящийся в руках моих, и в уме пробежала мысль, что вот сейчас я мог бы подарить ей жизнь, но с такой же легкостью и ни для кого не видимо я могу обратить ее в холодный бездушный

труп: для этого стоит только направить на нее долгий электрический ток. Все мои идеи закружились во мне, как бы нашептывая: вперед.

— Дайте мне мою барышню... Я прижму ее к своей старой груди, я убаюкаю ее, как когда она была малюткой — и она откроет глаза — клянусь Господом Богом. Я хорошо видела, мои глаза не ослепли от старости и не сумасшедшая я — видит Бог, нет, — я видела алую краску в лице... Дайте мне ее, отнимите от этого дьявола — я согрею ее своим дыханием и она оживет... О, да ужели вы не видите, глупые люди, он убивает ее холодом своих глаз. Она умрет — умрет, моя кроткая, моя добрая девочка!.. Добрая, как Божий ангел...

Старуха билась в руках двух дюжих грузин, державших ее под мышки, а она ругалась и плевала в мою сторону.

— Она, конечно, обезумела; держите ее крепче и пусть она не мешает доктору... И вы, князь, успокойтесь — не виноват же в вашем страшном несчастье бедный медик.

Величественного вида дама, проговорившая эти слова, стала между мной и князем, видимо, задаваясь целью не давать ему мне мешать.

К моему величайшему несчастью и к несчастью бедной моей жертвы, все присутствующие мысленно были теперь на стороне медика, мучимые раскаянием, так как, по моему выражению, тьму невежества предпочли свету науки. Что-то фатальное тяготело надо мной, и зловещий рок простер свою железную руку над несчастным, холодным телом.

Я приготовил свой электрический аппарат и, держа его в руках, приостановился, глядя на свою жертву. Змея, шевелившаяся во мне, притаилась и затихла, ожидая момента ужалить.

Это был ужасный момент. Сердце мое, казалось, обратилось в свинцовое, и весь я как бы застыл в одном страшном намерении и совесть шептала: «Палач, ты убьешь ее!» И другой голос, сознательный, исходивший из моего ума, отвечал: «Я — Кандинский, человек идеи, и убивать должен, как природа — бесстрастно». Совесть поднялась во мне и заговорила и повеяло холодом на меня, но я вглядывался в

себя, не в свое сердце, а в завлекавший меня образ — железного, холодного человека, и он влек меня и гордо возносил меня над всем миром.

Я смотрел на образ, носящийся в воображении моем, полный чувства самообожания, полный гордой мыслью, что я один в этом мире способен поступать по начертанию неумолимого ума, и он, точно какой-то демон, дразнил и манил меня, и я был полон любопытства: как это я сделаю — убью ее холодно и бесстрастно.

Самое удивительное, что вопроса «зачем» для меня не существовало в то время: мои идеи и планы, обдуманнные в прошлом, занимали место этого вопроса и рельефно рисовались воображению. Я все обдумал раньше и все решил, и теперь все более меня охватывало гордое сознание: я человек, реализующий свои холодные, страшные идеи. Думать в ином направлении я и не мог, чему способствовала также моя железная воля, полным рабом которой я и был. И все-таки руки мои лежали на электрическом аппарате, как свинцовые, и глаза неподвижно, с мертвенным выражением смотрели на жертву. Фатальный момент наступал, но и теперь исход его мог быть еще двояким, так как были моменты, когда я готов был закричать: «Вырвите ее из рук убийцы».

Старый князь вывел меня из оцепенения и, увы, столкнул свою дочь в бездну.

— Нет, нет!.. Пустите меня! Мертвая она или живая, но зачем она в руках доктора-пройдохи? Да ведь он мазурик... да он влюбил ее в себя... Да он отравил моего сына... Это плут... Шашни их обоих... Прошу вас, господа, вырвите тело из его рук... Зачем вы меня держите силой!.. Пустите, я разможжу ему голову!..

Он рвался и бился в руках державших его своих знакомых. «Князь, успокойтесь, ну, как вам не стыдно так клеветать на невинного доктора», — слышался тоненький голос какой-то дамы, но князь, не имевший силы вырваться, нагнулся, схватил дубину и, держа ее в руке, устремился на меня... Лицо его смеялось, зубы оскалились и глаза расширились и злобно сверкали.

Печать отвержения, которой он клеймил меня, подняла во мне пламя злобы, которое жгло меня и гнало все дальше: вперед, кончай. Все равно, я ужасен, и я читал в лице старика истину: ты убийца, и это заглушало во мне последние остатки нерешительности и, посреди клокотавшей во мне злобы, проходил образ холодного палача-медика, человека, гордо выделявшегося из всего человеческого — и это был я.

Со зловещим, методическим спокойствием я приблизил аппарат к телу моей жертвы. Сильный электрический ток пробежал в ее хрупком теле. Оно содрогнулось, пальцы конвульсивно задвигались и алая краска в ее лице сбежала навсегда. Я знал, что она умерла моментально, как от выстрела в сердце.

Спокойствие воцарилось в моей душе, как в храме, из которого вынесли последних богов; холодное спокойствие убийцы, какая-то зловещая тишина, среди которой ощущалось гордое сознание сверхчеловеческой силы воли.

Медленно озирая своими холодными глазами, глазами убийцы, лица присутствующих, я поднялся с гордым и надменным видом и громко, голосом звеняще-твердым сказал:

— Слишком поздно. Наука имеет дело с живыми, а не с мертвыми. Констатирую факт: перед нами мертвое тело.

И я направился прочь от этих мест вдоль по берегу, чтобы скрыться в чаще сада.

— Ха-ха-ха-ха!.. — раздался за мной горький хохот. — Какой гордый вид у этого негодяя. Он констатирует смерть моей бедняжки-дочери точно так же, как четыре месяца назад констатировал смерть моего сына. Он не лечит, а только отправляет на тот свет и констатирует смерть, как ворон каркает, как палач рубит головы. Он — орудие смерти; его пилюли — смерть, его микстуры — смерть, его электричество — смерть. Смерть — в его глазах, в его движениях, в его голосе... Человек, не держи мои руки, ты не знаешь, кто этот доктор: он хуже разбойника на большой дороге. О, теперь я всему верю, о чем мне давно уже говорила старушонка; посмотрите на нее, бедная старушонка...

Все повернули головы: старуха сидела, склонившись над

телом, рыдала и била свою сухую грудь; она и подымала руки над головой, посылала по моему адресу проклятия, причитала, охала и стонала.

А князь продолжал:

— Он — убийца, слышите ли — убийца, отравивший моего сына и задавший целью поселиться в моем доме после того, как из него все перешли бы в мой фамильный склеп... Ха-ха-ха!.. Мерзавец и плут, утонченнейший негодяй, великолепнейший прохвост, превзошедший всех разбойников со времен Каина!.. О, я ищу места на твоей голове, чтобы моя палка размозжила ее вдребезги!..

Старик стоял в нескольких шагах от меня со своим свирепо смеющимся лицом и дико сверкающими глазами и размахивал палкой, видимо, выбирая момент, чтобы ею размозжить мой голову. Делались попытки обезоружить его, но тогда он разражался страшными ругательствами, вырывался из рук и снова принимал прежнюю позицию боксера.

Мое спокойствие изумляло меня самого. О, теперь во мне воцарилась воля поистине железная, раздробившая, как мне казалось, всякие остатки совести, чувствительности и всякие эмоции и предрассудки, которые заложены природой в сердце каждого человека. Только теперь я мог осуществить свой зловещий идеал — одухотворенного меча среди мира, вращающегося на колесе холодного беспощадного ума.

И когда старик пытался бросить в мою голову палкой, я был вполне проникнут уверенностью, что мой властный вид, мое леденящее хладнокровие убийцы парализует его слабую волю. Я убедился, что не ошибался: палка только безвредно кружилась вокруг его собственной головы, так как рука его все чаще начинала конвульсивно вздрагивать. Я смотрел ему в глаза пристально своими холодящими глазами убийцы и полагаю, что нисколько не ошибаюсь, высказывая уверенность, что я буквально гипнотизировал его своим видом и разбивал его гнев и волю, как молотом.

Скрестив на груди руки, я с видом величайшего спокойствия подошел к нему и остановился: конвульсии в его лице стали выражать не ярость, а бессилие воли, как в параличе; рука его остановилась над головой, нервно заерзала

и палка покатила по камням. Минуту спустя он стоял предо мной с глупейшим видом — <s> раскрытым ртом и дико смотрящими глазами.

— Господа, между всеми вами, конечно, нет такого безумца, который хотя бы на минуту поверил грязной клевете, изшедшей из уст этого несчастного старика; а если и есть такой — то мне все равно: он, конечно, очень недалекий человек, заслуживающий только моего полного презрения. Что же касается до вас, князь Челидзе, то я на вас не сержусь: горе, испытываемое вами — достаточное объяснение вашего помешательства. Надеюсь, однако же, что, как только закроется рана вашего сердца, исчезнет и безумие ваше. В противном случае, исход будет для вас иной...

Я повернулся и, медленно удаляясь, тихим голосом окончил свои слова:

— Исход этот — дом умалишенных.

Моя речь произвела впечатление, которое я и желал вызвать: это подтверждала даже тишина, воцарившаяся вслед за нею. Она не нарушалась даже и тогда, когда старик, набравшись новым запасом мужества, стал ядовито хихикать. Немного спустя, он впал в прежнюю ярость, но после долгих ругательств пошел, наконец, к берегу: здесь он долго стоял неподвижно над телом своей дочери, свесив голову на грудь и не двигая ни одним членом, потом припал к ее ногам и расплакался.

Углубляясь все дальше в древесной чаще, я остановился, когда увидел себя у серой стены отвесных скал в совершенном уединении. Сюда не доносилось ни малейшего звука и среди полной тишины только слышался шум крыльев черного орла, облитого заревом заката и чертившего над моей головой круги.

Прислонившись спиной к скале и скрестив на груди руки, я опустил голову и долго стоял так, прислушиваясь к голосу своего сердца. Там было все пусто, все мертво, точно все человеческое во мне выгорело в пламени совершенного мной убийства. И в пустыне духа моего ощущалось только глухое, безнадежное человеконенавистническое отчаяние, отзывавшееся во мне, подобно дикому крику зате-

рявшего среди этой пустыни орла. Я сделался другим человеком и чувствовал, что все прошлое, человеческое стало мне глубоко ненавистным, отвратительным, терзающим меня и что из пролившейся крови во мне возродился другой человек — с железной волей, с неумолимо холодными мыслями и с безнадежно отчаянной мертвой душой.

Какая-то длинная тень заколебалась, задвигалась передо мной на песке, упала на стену скал и стала все уменьшаться. Я поднял голову: передо мной стояла Тамара.

Она смотрела мне прямо в глаза долго, пристально, с любопытством и страхом. Холод моих глаз, леденящая воля, веющая с моего лица, вселяли тайный страх в нее. И вдруг, содрогнувшись, она в ужасе проговорила:

— Кандинский, что ты сделал? Мне казалось, ты убил ее...

Я смотрел на нее, не отвечая.

— Ты роковой человек, Кандинский. Идти за тобой значит бросится в бездну: я делаю это, не раскаиваясь... Но скажи мне, ты убил ее... Я стояла за твоей спиной, но никто, кроме меня... я одна заметила нечто знакомое мне и страшное в лице твоём и мне показалось, что ты убил ее...

Я продолжал молчать, оставаясь неподвижным, как и скала, к которой я прислонился.

— Ты убил ее?

Я чуть заметно наклонил голову.

— Что ты сделал?

В ее восклицании слышался ужас и лицо ее стало смертельно-бледным. Когда я заговорил, мне казалось, что какое-то эхо звучало металлическим отзвуком с глубины скалы.

— Понимайте после этого женщин. Ты желала ее смерти, а не я, ты ее ненавидела, а я только был к ней равнодушен. Но ты недовольна, значит, мы не годимся друг для друга: возобновляю твое собственное предложение — расстанемся.

Медленно отходя от нее, я повторял:

— Один, один!..

— Какое безумие!.. Кандинский!..

Мы снова стояли друг против друга.

— Знаешь, что я тебе скажу... Мы никогда не должны расставаться. Так соперничать — опасная игра и я не желаю ее доигрывать. Ты победил — хорошо, оставим это. Скажи, Кандинский, как ты думаешь поступить с моим мужем? Конечно, его надо лишить возможности обличать нас. Этот безумный старикашка очень опасен. Я уже не говорю о нашем плане, который совершенно осуществится, как только мы его столкнем... Он очень опасен... Подумай, что выйдет, если он запасется доказательствами своих обвинений... Как я его теперь ненавижу; он сказал мне: прелюбодейка...

В ее глазах сверкнуло мрачное пламя и, приблизив свое лицо ко мне, она чуть слышно прошептала:

— Противный, мерзкий старик!.. Я буду мучиться, как в геенне, пока ты не скажешь: его уже нет. Ты молчишь, Кандинский... Ты холоден и неподвижен, как статуя... Я хочу слышать твой голос.

Я нарочно молчал, задетый желанием знать, что из этого выйдет. Тогда, охваченная тревогой и ненавистью к мужу, она начала мне нашептывать со страстной быстротой о необходимости устранить это последнее препятствие к нашему блаженству и независимости. Увы, я не верил уже ни в какое блаженство; но осуществить наш план все-таки было необходимо, и я ответил ей, что самое натуральное последствие его дикого бреда — сумасшедший дом.

— В самом деле, как я не догадалась о таком простом способе избавиться от него!.. К тому же, он сумасшедший, почти сумасшедший... Кандинский, как я буду тебя любить!.. Конечно, не так, как все... особенной любовью. Ты единственный человек, вид которого холодит мою кровь и извращенный ум которого и характер очаровывают... С тобой так хорошо падать на самый низ... Ты гениально отрицаешь добро... И все-таки ты меня ужасаешь после этого последнего убийства. Что ты за человек — честное слово, ты страшен и чудесен одновременно... Но эта мертвая девочка меня ужасает... Мне кажется, что она стоит предо мной и манит меня на дно озера. Вот она здесь, вот там... И кивает головой укоризненно-печально. Рассей мой бред... дай забыться... в твоих объятиях...

Приблизив свое лицо к моему, она смеялась болезненно, протяжно в то время, как в глазах ее выражался ужас».

XV

— Господа, я не в силах больше читать: смотрите, расцветает.

Лидия Ивановна поднялась с места, пошатываясь от усталости, сделала несколько шагов и, почти упав на диван, припала головой к плечу неподвижно лежавшего Куницына. Полузакрытые от усталости глаза ее, с внимательностью любящего существа, смотрели в лицо молодого человека.

— Спите, Лидия Ивановна, и ты, Куницын; для удобства можете даже обнять друг друга; и вы все, господа, спите здесь, где попало, берите подушки, шинели, располагайтесь на полу... И не думайте теперь уходить, слишком поздно или, правильнее, наоборот — слишком рано.

Это предложение Бриллианта было встречено общим сочувствием. Подушки, одеяла, пальто полетели на пол. Молодые люди расположились как попало и некоторое время спустя после общего шума наступила полная тишина. Вдруг один из юнцов проговорил:

— Господа, прослушав эту историю, знаете ли, какая прекрасная мысль осеняет мой ум...

— Черт возьми... Ты мешаешь спать... Говори твою мысль...

— Вот она: я Вьюнов, а не Кандинский.

Послышался смех.

— Тебе приходится только благодарить твоих родителей за то, что они приготавливали к выпуску в свет свое произведение — Вьюнова.

— Именно, — отозвался Вьюнов, — они были добрые люди и понимали, что тот плохой человек, кто лепит уродов, людей, обездоленных чувством и с извращенным умом.

Смех сделался общим.

— Человек, созданный гармонически — это Вьюнов; человек, в котором нет гармонии — Кандинский. Я сделан гармонически, потому что хорошим мастером сделан, и потому никогда не дойду до умственных бурь и вихрей Кандинского. Это — психопат, на алтаре сердца которого нет смирны и елея, и потому ум его — пила, режущая его самого. Это чудовище, в котором живут одновременно четыре зверя, как у Иоанна в Апокалипсисе: орел, земляной червь, сатир и скорпион. Он орел по гордости, стремящийся к облакам мысли, но мрачный туман пессимизма превращает его в могильного червя, обвивающегося вокруг трупов; но и червем он не может быть вполне: он смеется над всем, что сам делает, как сатир; четвертый зверь волочит свой ядовитый хобот по всему своему жизненному пути, отравляя ядом все дни своего бытия, и кончает тем, что убивает себя самого — скорпион. Много ли у нас Кандинских, не знаю, но полагаю, что попадаются такие экземпляры нечасто, то есть не Кандинские — убийцы, а Кандинские — мученики мысли. Я — Вьюнов, и совершенно этим доволен, так как Вьюнов — гармонически созданный человек. В сердце моем всегда отыщется бальзам, называемый любовью, который вяжет крылья ума, когда он захочет подняться над миром, как демон... Прощения просим, господин Вьюнов: пора спать.

Эта странная речь чудака, каким все считали Вьюнова, сопровождалась общим хохотом. Смех и разговоры, вероятно, долго бы продолжались, если бы студенты не были измучены долгим бдением, благодаря чему все скоро затихли и один за другим начали засыпать.

Одна Лидия Ивановна не спала: полулежа в прежней позе, она неподвижно смотрела в бледное лицо Куницына.

— Мой друг, я хорошо знаю, что ты не спишь. Пожалуй-ста же, не притворяйся.

Куницын раскрыл глаза.

— Ну вот... Ты все следишь за мной, Лидия.

— Да ты сделался каким-то странным... Право, Володя, я тебя таким не видела. Что с тобой?

— Я болен, Лидия, давно уже болен, не знал об этом и только теперь эта исповедь открыла мне истину; я опасно

болен и болезнь моя — болезнь Кандинского.

— Это еще что за болезнь, мой друг?

— Ты слышала, что говорил Вьюнов. Болезнь эту он аллегорически изображает чудовищем из четырех зверей. Это смешно и замысловато, не правда ли? Чертовски замысловато...

— Чертовски, конечно, чертовская галиматья.

— Ну вот, я так и знал. Оставь меня, Лидия, я хочу спать.

Он отвернулся к стене.

— Да, постой же, я не договорила; Володя, да смотри же мне в лицо, я этого хочу, я требую, мой милый мальчик. Смотри в лицо... Или я заставлю тебя еще сильнее рассердиться: я тебя поцелую.

Она потянулась к нему и слабо его поцеловала с нежностью матери, что заставило Куницына проговорить:

— Ты добрая, Лидия, как ангел, добрая: прогони моих зверей.

— Прогнать твоих зверей... Да что с тобой, Володя? Каких зверей?

Он стал объяснять ей, повторяя почти то же самое, что говорил Вьюнов. Голос его был чрезвычайно слаб и дрожал, и это в глазах Лидии усиливало значение его речи.

— Да неужели же, Володя, все это ты серьезно?

— Ты все не веришь? Лидия, ты все думаешь, что у меня кристаллически-чистая душа. Ах, ты ошибаешься. Слушай. Вот моя исповедь и хорошо, что она может уместиться в нескольких фразах: мои звери еще не пробудились и сидят, привязанные на цепи совести.

Да, Лидия, какой мерзостью я хотел тебе отплатить за твою любовь, ты представить себе не можешь. Выслушай и беги от меня.

— Ни за что в мире. И думать этого не смей.

— Хорошо, Лидия, но знай, какой я господин или, выражаясь обыкновенным языком, мерзавец: я хотел воспользоваться твоим увлечением мной, чтобы обманом сделать тебя своей любовницей. Жениться на тебе я вовсе и не думал, а хотел только устроить комедию венчания, чтобы удобнее обмануть тебя...

Девушка слегка побледнела.

— Что ж, обмани и брось... Мне только больно слушать сие признание из твоих уст. Что же еще?..

— Бросить тебя — это не все. О чем я еще думал — страшно выговорить... Я думал, думал... убить...

— Кого?..

— Ре... ре... ребенка, когда он появится... Кандинский номер второй не остановился бы на том... Потом... потом...

— Меня!..

— Мой ум был расстроен... Самые страшные планы носились в моем расстроенном уме... Я все обдумал, все рассчитал и план созревал в голове, как язва в желудке...

Печальное лицо Лидии сделалось смертельно бледным.

— Боже мой, Володя, мне кажется, я все это слышу во сне... За что же так жестоко ты хотел меня наказать?

Она припала губами к его лбу.

— Тебя я избрал первой жертвой охватившего меня мрачного отвращения к жизни. Вид отвратительных больных и трупов порождал страшные галлюцинации в моем уме... Но я не буду продолжать. Исповедь, которую ты читала, есть и история болезни моего ума и сердца. Избери, Лидия, какой хочешь вид покаяния, но не отворачивайся от меня. Ведь есть и смягчающие вину обстоятельства: все это в голове только было, а не в сердце; один мозг виноват: в нем поселился демон пессимизма и отрицания добра и счастья, и мое человеконенавистничество совершенно мозговое. В сердце своем я всегда находил протест против малейшей жестокости в отношении тебя. Во мне начиналось страшное раздвоение ума и сердца, но эта исповедь излечила меня.

Не знаю, почему это так; может быть, потому только, что этот доктор представляет крайнее воплощение материализма и себялюбия до разрушения себя самого. Ты преподнесла мне зеркало и я увидел в нем свой образ и ужаснулся. Отрекаюсь от демона, который был во мне, и вместе с этим отрекаюсь от своей науки. Больные и трупы — Бог с ними. У меня слишком живая фантазия и зрелище страдания порождает разочарования. Лидия, ты видишь, я обдумывал

план, как самый грязный преступник, но в то же время, клянусь тебе, я не мог бы без тебя жить — так я тебя люблю — понимай это противоречие как хочешь и, если я стал отвратителен тебе — разmozжи мою голову: я не в силах жить без тебя и все равно убью себя.

Сердце Лидии было слишком переполнено, чтобы она могла ему ответить что-нибудь; она только обвила его шею руками и прильнула к его лицу. В комнате долго ничего не было слышно, кроме легкого храпа спящих студентов и тихого шепота девушки: «Молчи... ты слишком волнуешься... не говори ничего. Ты хороший, добрый, ты самый прекрасный мальчик... Пусть убьют меня твои мысли, если могут, твоя любовь снова воскресит меня. Прощаю тебя от всей души и даже могу выдать индульгенцию на все будущие убийства в этом роде... Но ты прав: медицина не для тебя и с ней надо расстаться тебе. Изберем новое занятие для тебя... Исповедь самоубийцы излечила тебя, это странно, но я благодарна Кандинскому: его отрицание добра доносится из гроба, как удары грома, убившие его самого и побуждающие других укрыться от них. Будем продолжать чтение».

В коридоре послышался звонок, шум шагов и минуту спустя в комнате появился слуга с самоваром в руках.

Немного спустя, молодые люди поднялись и началось «чаепитие», а часа два спустя Лидия сидела уже за столом с тетрадью в руке. Она была измучена бессонной ночью, но ее нервная веселость делала это незаметным.

— Не знаю, Вьюнов, во сне я слышала ваши философские изречения или вы действительно их высказывали, когда я засыпала. Я вам напомню сейчас... В чудовище заключается чудовище и в этом чудовище опять чудовище, в последнем целый зверинец животных, как то: пантера, ягуар, крокодил, очковая змея и пр.

Все рассмеялись.

— И вся эта коллекция, удобно расположившись в душе человека, кривляется и делает глазки. Молчание, я приступаю к чтению.

Однако же, снова отведя глаза от тетради, она посмотрела на Вьюнова и, рассмеявшись, произнесла:

— Идиот.

Она снова начала чтение.

XVI

Я шел быстрой, нервной походкой по одной из улиц Тифлиса. Холодный ноябрьский ветер с неистовой яростью дул, не прерываясь ни на мгновение. На вершинах тянувшихся вокруг города гор белелся снег, но на улице было совершенно сухо: там, в горах, климат другой.

Сопротивляясь порывам ветра, временами я на мгновение приостанавливался, как и другие пешеходы, идущие по тротуарам, и снова продолжал идти, испытывая удовольствие в душе своей: в завывании бури мне чудились невидимые, но дружественные мне силы, отвечающие живущим яростью и презрением, как и я, и их счастью и радости — истерическим хохотом. Мне казалось, что я не один теперь, а в обществе невидимых мне друзей, которые, как и я, не признают уместности добра и любви на этой земле и с холодной злобой выполняют процесс разрушения. Дух зла подымался и рос во мне и мне делалось весело.

Пройдя гористую часть города — Аллгабар — я пошел по длинной ровной улице, обсаженной тополями. Под безостановочными порывами ветра деревья со стоном гнулись в одну сторону, как ряды старцев, с болью сгибающие свои спины. Желтые листья густыми роями кружились в воздухе, отрываясь от веток. Вдруг впереди себя я увидел дряхлую, безобразную старуху в лохмотьях. Она стояла за деревом, выставив вперед морщинистое, с оскалившимися зубами и глазами, злобно устремленными на меня, лицо. Я узнал сейчас же в ней нянюку моих бывших пациентов, безмолвно лежащих теперь в своих могилах. Желая поскорее миновать отвратительную «чертовку», я ускорил шаги, инстинктивно сжимая рукоятку трости в руке. Вдруг старуха отделилась от дерева и, бросившись ко мне с хохотом помешанной, остановилась и, подняв руки, приставила к мое-

му лицу кулаки. Мне хотелось ее хватить тростью, но вечное опасение скомпрометировать свою особу не оставило меня и здесь; приподняв трость, я только смотрел в ее лицо со злобно устремленными на меня глазами, в которых, как слюда, блистали никогда не высыхающие слезы. Вдруг старое лицо исказилось судорогой, рот широко раскрылся и она прохрипела страшное, площадное ругательство. Я судорожно вздрогнул, сделав бессознательное движение рукой, и трость в один момент опустилась на ее голову.

Я мчался вдоль улицы, желая уйти скорее от противной, дряхлой старухи; но вместе с порывами ветра до моего слуха доносились ее дикие вопли — боли и бешенства. «Я не убил ее, а может быть, и убил». И моему воображению рисовалась лужа липкой крови и в ней отвратительно изгибающееся старое тело. Во рту у себя я ощущал вкус крови и мне делалось невыразимо противно, противна старуха и противен я сам, и моя духовная жизнь мне представилась почему-то в виде огромного хрустального храма с разбившимся, залитым кровью алтарем. Я ощущал одну глухую жажду разрушения — без раздумывания, без сожаления, жажду новыми убийствами заглушить грызущую боль. Только пройдя длинную улицу и очутившись в узком переулке, я пошел уже, приняв обычный гордо-сдержанный вид. Остановившись у ворот большого здания, я спросил сторожа:

— Доктор Рувич — я к нему.

Предо мной раскрылись тяжелые железные ворота и минуто спустя я шагал вдоль сада, окруженного высокой стеной. Он был наполнен странными, болезненного вида существами «не от мира сего», которые горячо ораторствовали, скакали, кувыркались, хохотали, пели, бранились — сумасшедшими. Я шел медленным, размеренным шагом, внимательно всматриваясь в лица странных людей. Многие из них боязливо отходили от меня; другие, наоборот — с вызовом обращались ко мне. Глаза странных существ светились, в лицах многих из них отражалось дикое вдохновение. Здесь были царствующие монархи и низверженные императоры, римские папы и пророки, разбойники и гони-

мые за истину; был слон, вообразивший, что на своем хоботе несет мир; здесь был человек, уверенный, что он проглотил воз сена; был один поэт, влюбленный в луну, и была собачонка, начинающая яростно лаять на поэта всякий раз, как только тот принимался декларировать свои вирши.

Как видите, я попал в самое изысканное общество философов, пророков, королей. Конечно, это мнимые короли и мнимые пророки; но с точки зрения их личных ощущений и упоения своим величием, я полагаю, это безразлично: ведь иллюзия так же способна восхищать большого умом человека и уносить его за пределы мира, как действительность — лучезарного гения. Настоящая Иоанна д'Арк, быть может, испытывала совершенно такие же ощущения, как и многие орлеанские девы, громящие англичан в пределах дома умалишенных. Наша сердобольность в отношении помешанных не совсем основательна: их уму часто открывается небо с хором поющих ангелов и их сердце замирает в восторге. Поприщин был истинно несчастен, когда на его голову лили холодную воду, в остальное же время он сидел на троне Фердинанда и царствовал. В конце концов, и сумасшествие имеет свой тайный смысл и невидимые радости, и величайший гений — свое безумие и незримые слезы. Кто счастливее — я не знаю. Перенесите Магомета или даже Байрона в дом умалишенных — и медики не задумаются их признать самыми безнадежными. Поистине, мир огромный дом сумасшедших, в котором — признаться ли вам в своем колоссальном самомнении — волею судьбы должен скитаться между безумными единственный нормальный человек, чувства которого охлаждаются безжалостно-анализирующим умом — Кандинский.

Счастливо миновав толпы сумасшедших, я направился к зданию, в котором, как читатель, конечно, догадывается, томился мой протеже — старый князь. Вскоре я очутился в коридоре, в конце которого я увидел маленького, тоненького человека — доктора-психиатра Рувича. Правду сказать, я немного побаивался, как бы он не открыл моей фальсификации сумасшедших и в невинном князе решил бы не признать помешанного.

Как только Рувич увидел меня, так внезапно остановился, и его два больших, светящихся из под очков глаза уставились прямо на меня. Бледное лицо его с заостренным носом и сурово сжатыми, тонкими губами напоминало неподвижность и важность мертвеца.

— Признаюсь, Георгий Константинович, вы мне чертовски плохую услугу оказали, — закричал он шутливо-недовольным тоном и, окруженный несколькими сторожами, имевшими вид палачей, сопровождавших инквизитора, направился с протянутой рукой ко мне.

«Он все знает», — подумал я, внутренне ужасаясь; между тем Рувич, пожимая мне руку, заговорил снова:

— И вы полагаете, что ваш больной страдает манией преследования, да еще в легкой форме; разочаруйтесь, это вид умоисступления самого дикого. Ваш сиятельный больной чуть меня не задушил. Как хотите, не желая собой рисковать, я принужден буду прикрепить его к кровати.

— Вы... сердцеведец! — проговорил я, радуясь и глумясь в душе над Рувичем, и опасения мои рассеялись, как дым. Что же, однако, здесь удивительного? Он не мог отличить проявление гнева здорового человека, чувствующего, что его мошенническим способом заперли в желтый дом, от припадков бешенства настоящего сумасшедшего. Держу пари, что каждый из наших психиатров впал бы в точно такое же заблуждение. Я уверен, что в недрах желтых домов скрывается порядочный процент людей умственно здоровых, попавших туда по протекции разных лиц; пусть последние будут спокойны: жалобы и вопли их узников могут спокойно отдаваться от голых стен, не западая ни в чьи сердца. Мертвецы под землей скрыты не более надежно, нежели они.

— Мне очень жаль, что мой бедный маньяк вас пугает. Что ж, прикрепите его к кровати, в таком случае.

— Всякий раз, когда я это делаю с моими буйными больными, они на время стихают... Да, не угодно ли — посмотрим вместе на вашего дикого князя.

Я ничего не имел против, и мы пошли. Пройдя узкий и длинный коридор, мы остановились около массивной двери с маленьким окном. Я стал смотреть в окно. Там по узень-

кой комнате яростно бегал, как зверь в клетке, жалкий старикашка. Трудно было в нем узнать князя. Свешанная на грудь, как у дикого буйвола, голова его была обрита, лицо страшно исхудало и бесчисленные морщины перебежали безостановочно. К довершению картины, его рот был полуоткрыт и из него минутами вырывался мучительный стон. Когда раздался звон отпирающегося замка, князь внезапно остановился, как загнанный зверь в лесу, услышавший голоса охотничьих собак, и приподнял палец кверху. Этот жест довершил его полное сходство с сумасшедшим, и я полагаю, что самый тонкий психиатр не заподозрил бы здесь обмана.

Рувич входил в дверь бочком и остановился, окруженный сторожами, как коронованная особа свитой. Что за трус этот Рувич! Но и я сам поступил бы не лучше; я остался за дверью, чтобы видеть агонию моей жертвы, не признающей спасительного света, обильно изливающегося на его помраченный ум из рога науки.

Воцарилось долгое и тяжелое молчание. Князь стоял неподвижно, мучительно переводя дыхание. Вдруг он сделал несколько порывистых шагов — и моментально вокруг доктора сомкнулось тесное каре из сторожей, которые угрожающе подняли в сторону неприятеля кулаки, как солдаты копья. Вот прекрасный способ лечения, в самом деле, и что за очаровательный врачеватель душ этот Рувич!

— Боже мой! — вскричал громко князь с выражением невыразимого отчаяния, и в его лице пробежали конвульсии. — Скажите, Бога ради, ужели вы, доктор, не видите, что я такой же сумасшедший, как вы; клянусь прахом моих детей! Да, я впадаю в ярость и это пугает вас; но Боже мой, кто может сохранить хладнокровие и не закричать, как зверь, когда я здесь, в доме сумасшедших, а мои дети, мои бедные дети — убиты... О, злодей-доктор!.. — тс...с... Не буду!.. Не считайте это за безумие!.. Напротив, я обращаюсь к вашему просвещенному разуму, я, сумасшедший — не странно ли это? Я прекрасно сознаю, что я здоровый человек — о, милосердный Бог, дай мне спокойствие, — но в то же время я прекрасно сознаю, как ужасна низость этого

мерзавца-доктора... не буду, не буду!.. Но мои дети в земле... Клянусь их прахом, я не могу не кричать — негодай, негодай!.. Лейте, палачи, воду на мою бедную голову... Правда жжет мое сердце и вырывается из моих уст, как огонь...

Он задыхался.

— И Христос терял божественное спокойствие пред толпой фарисеев. Я же человек, но терплю больше, чем выдерживать можно... Хладнокровным быть... но мне легче разорвать на куски того доктора... Ярость моя — не разжигай мою грудь... Палачи, вы снова будете обливаться водой мою обриту голову. Нет, я не кричу этих слов о негодые-медике, о мерзавце, который убил детей: разбойник, разбойник, разбойник!..

Из его глаз лились слезы, и хотя он всеми силами старался быть спокойным, но последние слова прокричал он диким, ужасным голосом, бессознательным движением подскочив к Рувичу.

Психиатр попятился к двери и шепнул мне:

— Какой дикий бред, и так всегда бывает. Будемте осторожны.

Князь, между тем, видимо стараясь овладеть собой, в отчаянии заговорил снова:

— Боже милосердный, дай мне спокойствие... Я не хочу быть безумным и только желал бы, чтобы этот умный доктор понял, что не помешанного, а здорового человека бросили в этот ад... Доктор, вы не верите, я читаю в вашем лице свой приговор, читаю и мое сердце бьется, бьется, бьется... О нет, мне не удастся разуверить вас, но может быть, я растрогаю вас, если вы точно человек, а не холодный камень... Смотрите, я, природный князь Грузии, падаю к вашим ногам...

Глупей этого ничего нельзя было выдумать, но старик упал на колени и зарыдал.

— Доктор, освободите меня из этой тюрьмы... Слушайте, я вам выболтаю всю правду... мерзавец Кандинский и моя жена вот какое придумали мне украшение — рога...

Он приподнял над головой по два пальца своих рук и захохотал странным, злым смехом.

— Черт побери — бык, не правда ли?.. Чтобы дать волю своей похоти, им надо было убить моих детей и запереть рогатого зверя. Все это ужасно, но понятно. О, я готов ее душить, душить и впитаться в ее белую грудь, как вампир, и высосать ее распутную кровь... Потом умереть на ее труп... Так я, старик, люблю ее. Поймите же — это страсть, а не безумие... А ее любовника я хотел бы колесовать... Поймите, доктор, вы здесь льете на мою голову воду, а там завладевают моим богатством и блудодейничают... О, эти мысли охватывают мою голову, как огонь, и старое сердце мое стучит, стучит, стучит... Доктор, дайте мне свободу и я путь вашей жизни осыплю золотом... Возьмите все... мне ничего не надо, я труп... Я жажду только мести... Крови своей Тамары жажду я... Всосаться в ее белую грудь и так умереть... Какое это блаженство!.. Доктор, сжальтесь, я обнимаю ваши колени — сжальтесь и берите богатство мое...

Он пополз на коленях и из груди его вырвался дикий, яростный стон. Сторож оттолкнул его ногой, и тогда-то произошла невиданная мной сцена.

Князь дико сверкнул глазами и, с необыкновенной силой вскочив на ноги, захохотал отчаянным безумным хохотом. Потом он стал бегать взад и вперед, как раненый зверь. Во всем этом только проявлялась вспыльчивость его предков, но здесь, в доме умалишенных, это было более, нежели уместно: никакой скептик не мог бы усомниться в полном безумии моей жертвы.

Повернувшись ко мне, Рувич тихо сказал:

— Ну что ж, полагаю, достаточно. В дальнейших проявлениях больной не представляет уже интереса.

— С кем это вы там шепчетесь?!.. Да, неужели... Как!.. Отравитель!..

Мнимый сумасшедший своими дико сверкающими глазами смотрел в полуоткрытую дверь мне в лицо.

— Боже милостивый — как мне убить тебя? Черт ты, черт!.. Ура, я тебя задушу!..

И старик, подпрыгнув к двери в два прыжка, опрокинул сторожей с сумасшедшим хохотом и протянул уже к моей шее руки, но я благоразумно захлопнул перед ним тя-

желую дверь.

— Вяжи его, вяжи!.. руки назад, так... Митюха, клади его на кровать...

Несколько минут — и все было кончено. Князь лежал на кровати в кожаной куртке, крепко прикрученный ремнями, недвижимый, как труп.

Рувич подошел ко мне.

— Оставляю вас с вашим несчастным князем, коллега. Надеюсь, вы убедились в вашей ошибке: это самое буйное умоисступление, а не тихое помешательство, как вы говорили. Теперь он связан: побеседуйте с ним.

Рувич вышел.

Я беззвучно подошел к кровати и долго смотрел в лицо старика. Грудь его высоко поднималась, из открытого рта вырывались глухие, шипящие стоны, глаза были закрыты. Несчастный владелец подблачных гор и бесконечных полей! Но сострадание было далеко от моего сердца, совсем наоборот: его дикие обличения подняли с новой силой таившуюся злобу во мне. Мне хотелось растравить его душевные раны и полюбоваться им. Сознаюсь, такое желание заслуживает виселицы, да я давно ее и заслужил; но эшафот не может увеличить боль души, измученной на алтаре самобичевания: в нас есть что-то страшнее его.

— Князь Евстафий Кириллович!..

Старик затрепетал в своей кожаной куртке и, раскрыв глаза, в ужас уставил на меня зрачки.

— Прежде всего, от вашей верной Пенелопы поклон.

Он простонал и задвигал головой, как в агонии.

— Тамара Георгиевна утратила всякую веселость после печального открытия о помрачении вашего светлого ума.

Князь приподнялся, но кожаная куртка заставила его снова упасть со стоном.

— Я, однако, ее уверил, что хотя вы и лишились рассудка, но есть надежда на излечение.

— Боже милосердный, я не могу убить этого смеющегося дьявола!

Я переменил тон и строго проговорил:

— В самом деле, князь, даю вам последний совет: пос-

тарайтесь рассеять в себе дикую идею о моих злодеяниях, и я раскрою вам двери вашей тюрьмы.

Конечно, я очень далек был от такого намерения: надо было зажать ему рот. Для убийцы ничего не может быть мучительнее обличения, даже из уст мнимого сумасшедшего.

— Подумайте, возможно ли о докторе, пользующемся такой завидной репутацией, отзываться, как об убийце ваших детей. Я их отравил, по вашему мнению, чтобы овладеть вашей женой — что за дичь. И как это вы не подумали, что неизбежным последствием вашей мании обвинять нас, то есть меня и Тамару, мою Тамару — признаюсь — <станет> сумасшедший дом? Вы в руках тех, кого называете разбойниками, и мы никогда не простим больному такой мании — поймите же это, черт возьми! Вы жалуетесь, что на вашу голову льют холодную воду — то ли еще будет? Я прикажу вас терзать скорпионами и железом, пока вы не измените ваших убеждений и не станете меня называть спасителем рода человеческого, каким я и был всегда.

Мой тихий голос, понизившийся до зловещего шепота, пугал меня самого: он казался каким-то чужим, точно внутри меня таилась змея и шипела под такт моих мыслей. Я сам переставал понимать себя и дивился силе своей злобы; меня охватило настроение мучительное и вместе с тем злобно-веселое.

Проговорив все, что мне было надо, я беззвучно вышел из комнаты и остановился в коридоре. Прямо против меня в полумраке стоял высокий, неуклюжий господин с глубоко сидящими в орбитах, пронизательно устремленными на меня глазами. Исключительно только один Гаратов мог смотреть так простодушно-наблюдательно и точно желая проникнуть в тайники моего «я». Вообще, господин этот был очень мне не по душе, и я невольно содрогнулся, увидев его.

— Скажите, что вы здесь делаете, Гаратов?

Ответа не последовало; казалось даже, что он не слышал меня, как человек, поглощенный созерцанием и видящий нечто крайне интересное. Он смотрел, как изменялось мое

лицо, как двигались мои губы и, о ужас, мне казалось, что он видит даже мое внутреннее сокрытое «я».

— Вы большой оригинал, Гаратов, — проговорил я с притворной беспечностью и пошел вдоль коридора. К моему неудовольствию, странный субъект пошел со мной рядом, продолжая смотреть на меня, повернув ко мне лицо и не произнося ни единого слова. «Настоящий носорог», — думал я, глядя, как неуклюже он переступает с ноги на ногу, иногда плечом задевая стену.

— До свидания, Гаратов, — проговорил я, неожиданно для него сворачивая в сторону. Благодаря такому ухищрению, я избавился от него, наконец. Немного спустя, я уже был на улице. Здесь меня ожидала новая неприятность: вдоль высокой стены медленно брела отвратительная старуха с головой, покрытой кровью, как красным шарфом. Глаза ее смотрели на окно, за которым томился мой узник. Содрогнувшись всем телом от отвращения, ненависти и предчувствия чего-то недоброго, я отвел глаза от «безобразной твари» и быстро пошел дальше.

В одной из глухих улиц судьба подготовила мне новый сюрприз: раздражающие звуки шарманки, наигрывающей популярное здесь «Отца я зарезал», внезапно раздалась над самым моим ухом. Песенка была до крайности знакома мне и яркий образ поющей с мандолиной в руках Нины предстал моему уму и охватил его, как пламенем. Образ этот явился предо мной с такой яркостью и был исполнен такой грусти и немного упрека в мертвом лице, что я ужаснулся: сердце мое болезненно сжалось. «Почти галлюцинация», — подумал я, стоя на одном месте и бессознательно глядя в открытую дверь какого-то вертепа-кабака. Я видел там, но как-то в полумраке, фигуры грузин и армян, шарманщика и несколько женщин. И вдруг на пороге кабака показалась девушка с дико смеющимся, страшно исхудалым, но дивно красивым лицом, на котором под всклокоченными волосами светились, как бирюза, ярко-голубые глаза. И я сейчас узнал ее — свою Джели или, вернее, тень ее, — до того она изменилась. Костюм ее состоял из каких-то лоскутьев, едва прикрывавших ее плечи.

Вдруг она вскрикнула и, сделав несколько прыжков, подошла ко мне.

— Мой доктор!..

Что-же я мог ей сказать? — я молчал.

— Доктор, мой доктор! ты меня давно перестал любить, целовать меня и называть своей девочкой. Разлюбил меня и погубил, сердце мое разбил в кусочки. Ты смотришь на меня — не смеешься и не плачешь, а что-нибудь надо делать; мой вид такой уже... моя мать не могла смотреть на меня без слез — горьких, горьких. Какая я — ты не понимаешь, смотри — я пляшу...

Она закружилась на месте, как волчок, и смех отчаяния сверкнул в глазах ее. Ветер вздымал ее лохмотья и обвивал ими ее гибкое тело, как флагами. Я же в это время думал: вот она, мое небесное создание, роза Рионской долины — сумасшедшая или пьяная — безразлично, во всяком случае, я нечаянно уронил красивую вещицу и она разбилась в куски.

Вдруг она остановилась, таинственно приставила палец к губам и прошептала, подойдя ко мне:

— Слушай, доктор, он там — в Куре.

— Кто?

— Сыночек — твой ребенок.

Я смотрел, охваченный ужасом и изумлением.

— Да-да, родился ребеночек и он был твой, но теперь он на дне Куры глубокой... т-сс... никому не говори.

Зубы ее стиснулись, в то время как глаза отчаянно засмеялись.

— Ты меня отбросил от себя, как падаль. Ты из камня сотворен, русский человек, из камня. Я подумала, что твой ребеночек такой же каменный и убьет меня, блудницу, свою мать. Он только родился, и я сейчас хотела разбить его голову... но он запищал, и я позволила, чтобы он пил мою грудь, как ты меня пил, пока, упившись, <не> отбросил пустой сосуд... Но отец меня выгнал, а я горда — не пошла к тебе. Вот что я сделала, знаешь: упала на мостовую и так лежала с твоим сыном, кто хотел, покупал меня. Ребенок меня мучил, лицо его — твое и загорелось сердце мое... Подо-

шла к Куре... Луна и звезды смотрели на меня, положила его — поплыл по волнам... На дне реки он, доктор... Там собери его кусочки и сделай себе... скелетик...

Она страшно засмеялась и, в порыве отчаянного веселья, что-то запела и закружилась в дикой пляске. Я не смотрел на нее больше: я бежал... В ушах моих звенела шарманка и пьяные голоса.

XVII

Была ночь. Свечи освещали большую спальню, мешаясь с сиянием лунных лучей, врывающихся в окна и бросающих фантастические узоры на стены.

Тамара сидела в кресле неподвижно, с мрачно нахмуренными бровями, под которыми светились злые, устремленные вдаль глаза. Вдруг она сказала:

— За твоей спиной две могильные тени, Кандинский — слева и справа. Тебе не страшно?

Резким движением она повернулась ко мне всем телом, глядя на меня со страхом и любопытством.

— Ты суеверна, мой ангел. Когда я буду способен чувствовать ужас, тогда — прощай, Кандинский.

— Может быть, ты хочешь сказать этим, что убьешь себя?

— Нет, я совсем не расположен это делать, точно так же, как чувствовать ужас или раскаяние — стадные чувства, понятные в Иване и Петре, но когда их почувствует Кандинский — прощай: останется животное большого стада. Я не Иван и не Петр, я — Кандинский.

— Какие гордые слова!

Она долго смотрела на меня неподвижно.

— Так ли это?

— Полагаю, да.

— Ты полагаешь, что ты так велик, а может быть, это только великая твоя низость — и ничего больше.

Слова эти уязвили меня.

— Наши две жертвы убиты моей идеей, Тамара, а вовсе

не мной — для нашего блаженства.

— Как это?

Я не считал нужным разъяснять ей.

— Как же ты говорил, что делаешь это из любви ко мне? — спросила она, расширяя глаза, в которых засверкали злые огоньки. — Или... постой, может быть, тебе была нужна не я, а богатства князя и ты хотел сделаться моим мужем с этой целью? Ха-ха-ха!.. Ты никогда им не будешь.

— Последние твои слова совсем вздор, Тамара.

И я говорил правду. Корыстные побуждения, овладевавшие мной вначале, стали постепенно рассеиваться по мере того, как мной все глубже начинали овладевать мои мысли и страсть к моей союзнице.

— Слушай. Прежде, чем мы встретились с тобой, в моем уме зародилась идея... Это она убила... этих, а не я...

— Прочь, ужасный человек, — вскричала она, подымаясь с места и выпрямляясь во весь рост. — Безумная, я поверила, что одна безграничная любовь тебя доводит до низости отравления — и прощала; но ты, ужасный человек, объявляешь теперь, что какая-то дикая идея руководила тобой, а не любовь...

— Ты чрезвычайно эффектна в эту минуту, мой ангел, — проговорил я, любуясь ею.

— В тебе все фальшиво, изломанный, жалкий человек. Мне надо было раньше понять, что ты готов делать всякую низость под влиянием твоих гадких мыслей, как лунатик. Ты не любил меня?

— Нет... — вырвалось у меня нечаянно, по чувству противоречия; но она, видимо, научилась понимать меня и, к моему удивлению, успокоившимся тоном сказала, опускаясь в кресло:

— Нет, ты лжешь и сам не знаешь, что говоришь. Твое самолюбие колоссально, Кандинский, и ты знаешь сам, что ты не в силах меня не любить. Какую роль в твоих страшных делах играли идеи, я не могу себе уяснить; но, во всяком случае, они не могли убить несчастную Нину: это сделала любовь ко мне, чтобы ты там ни говорил.

Я, конечно, считал излишним разочаровывать ее.

— Садись.

Я сел рядом с ней и хотел ее обнять.

— Без объятий, пожалуйста. Да, да, наконец-то мы вполне осуществили наш страшный план: две жертвы в земле, третья — там. Несчастный мой старик... Но мы свободны и, по-видимому, ничто не мешает нашему счастью; но я его что-то не чувствую.

— Да просто потому, что его совсем нет на этом свете, Тамара.

— Нет, есть; только не для нас с тобой, может быть. Несчастный старик! Так ты его нашел совершенно безумным, несомненно сумасшедшим? Не правда ли?

— Это правда, поверь мне, — он давно сошел с ума в буквальном смысле.

Конечно, я лгал, но надо было успокоить тревоги моей подруги. Да и она сама лукавила и нарочно задавала все эти вопросы для успокоения своей совести. Надо заметить, что, отправляя старика в дом умалишенных, Тамара предварительно подала письменное заявление этого рода. Нам пришлось, однако же, употребить много хитростей, прежде чем удалось отправить мнимого сумасшедшего по назначению.

— С ума сошел... Несчастный старик... Это все равно, что мертвый... Но он не придет больше сюда... требовать свои наследственные владения... Он все мне оставил совершенно законным образом... Несчастный князь... Был он бледен и дрожал?..

— Страшно бледен и очень дрожал, как бешеный сумасшедший.

— Гм...

— Он сказал, что готов был бы выпить твою кровь — ради наслаждения, надо полагать, и мести.

— Он это сказал!..

— И с какой необычайной злобой.

— Он всегда был глуп, похотлив до отвращения и подозрителен — гадкий, безумный старикашка. Не стоит и сожалеть о нем.

Переспрашивая и задавая все новые вопросы, Тамара раскрывалась для меня совершенно ясно: сожаление и со-

весть в ней боролись с приятным сознанием завоеванного нами независимого положения и свободы. Старик всего менее тревожил ее совесть; но две другие наши жертвы терзали ее безбожно. Иногда они являлись ей по ночам, так что она просыпалась с криком ужаса и начинала метаться по комнате, как больная. Я холодно осмеивал ее ужасы, и тогда она делалась «ручной» на некоторое время. Вообще, я старательно учился играть на струнах своей лиры — женщины, иногда искусственно повышая ее чувственность, в другое время нарочно вызывая в ней ужас к привидениям. Тени мертвых, по ее мнению, стояли за ее спиной, а мой вид часто приводил ее в содрогание и она отталкивала меня с ужасом и презрением.

Она долго сидела неподвижно, как бы не замечая, что, окрутив ее талию руками, я делал все, чтобы вызвать ответ на мои страстные нашептывания. Я видел, что ее лицо пылало, и я стал расстегивать бесконечный ряд пуговиц ее платья: поистине адская работа. Целуя ее обнажившуюся грудь, я стал посматривать в ее лицо: в ее глазах засверкали золотистые искорки и губы подернулись в чувственной улыбке. Я уже внутренне торжествовал, как вдруг Тамара резко проговорила:

— Сиди смирно.

Потом, в виде пояснения, она добавила, не глядя на меня:

— Не расположена.

Ухищрения моей красавицы нравственно завоевать меня давно уже сделались для меня несомненными. Но насколько это было удобно — судите сами: мне казалось, что кровь моя лилась так быстро по жилам, как волны горной реки, но я сидел недвижно, делая усилия заглушить в себе чувственность и не выпуская из своих рук руль власти над собой и над нею.

Воцарилось молчание.

— Так скучно сидеть, Кандинский.

Она взглянула на меня с чувственно-вызывающей и досадливой усмешкой. Я не отвечал.

Одним движением руки она рассыпала по плечам свои

волосы и стала раздеваться, будто не замечая даже моего присутствия. Потом она снова села в кресло и протянула ноги, на которых красовались красные туфельки.

— Я безгранично бесстыдна с тобой, знаешь... — проговорила она, презрительно смеясь.

Продолжать сидеть таким образом делалось невозможным. Я поднялся и шагнул к ней.

— Что ты хочешь?!.. — воскликнула она, сверкнув глазами.

Я сжал ее руки.

— Прочь!..

Она вскочила с места.

— Ты с ума сошел!

Я пожал плечами.

— Если так, то мне самое лучшее оставить тебя.

— Убирайся! — сказала она резко. — Меня возмущает малейшая твоя грубость в отношении меня. Ты вообразил, что твои права исходят из твоих преступлений — и это самое возмутительное. Знай, что я свободна от всяких упреков совести: преступления твои, а не мои.

Проговорив все это, она снова приняла прежнюю позу в кресле и начала снова, спустя некоторое время, поглядывать на меня с чувственной усмешкой. Я знал, что мое холодное молчание ее снова выведет из себя — так и вышло.

Она приподняла руку и нервно забарабанила согнутыми пальцами по столу.

Молчание продолжалось.

— В твоих жилах, кажется, совсем нет крови, Кандинский.

Я видел, что моя наружная холодность ее совершенно выводила из себя, но теперь было уже поздно: чего бы это мне ни стоило, но надо было наказать ее и, отойдя к двери, я проговорил:

— Я охотно бы уехал из твоего дома, Тамара, сейчас же, но теперь глубокая ночь... В конце концов, я хочу рассеять одно твое маленькое заблуждение. Ты вообразила, что я считаю для себя очень заманчивым превратиться в твоего законного супруга и разделить с тобой наследство несколько не

сумасшедшего старика, как бы в вознаграждение за наши преступления. Я могу убивать силой присущих мне понятий, без сожаления и раскаяния, как это делает природа, но не могу ожидать за это платы. В этой жизни во мне осталась только одна живая страсть — любовь к тебе, но говорить об этом теперь можно счесть излишним.

Она порывисто подошла ко мне.

— Кандинский горд, — я это знаю — и вовсе не желаю ссориться с тобой. Я знаю, что, кроме тебя, у меня никого нет, и за моей спиной — два призрака... Как я останусь здесь в этом страшном пустом доме... Я не пущу тебя... Мы связаны тенями мертвых...

Лицо ее стало грустным.

— Да, признаюсь, этот дом, похожий на склеп, очень удобное место для их ночных прогулок, — сказал я с рассчитанным коварством. Она вздрогнула и со страхом стала смотреть в полумрак комнаты.

«Как удобно играть на струнах моей арфы-дамы», — подумал я.

— Что ты там видишь?

— Ничего...

— Однако, твои глаза испуганно расширены.

— Как страшно там... смотри...

— Стена и ничего больше.

— Ты закаленный человек, Кандинский, но я не так сильна: ты знаешь, мне часто кажется, что за мной неслышно ступают бледные тени...

— Самые безобидные существа. Целый эскадрон мертвецов не мог бы помешать мне спать.

Она посмотрела на меня с ужасом.

— Какой цинизм... Твои слова приводят меня в трепет... Ты страшный человек и опасный... Какое-то холодное привидение доктора с чашей яда в руке вместо микстуры... Ты не понимаешь, почему я так боюсь твоей власти надо мной... Эта власть — самая ужасная и позорная власть убийцы... Я гнушаюсь тобой, хотя нечто таинственное влечет меня к тебе.

— Прощай, Тамара, ты достаточно высказалась.

Во мне поднялась злоба и, с целью вызвать ужас в ней, я сказал:

— Твоя падчерица была самым тихим, беззаветным существом, ее брат — тоже... Теперь, когда они еще более притихли, ты не хочешь побыть с ними в компании, в этой комнате... Две милые, невинные тени...

Ее расширившиеся глаза со страхом перебегали по комнате, а я тихо говорил.

— Старушки уверяют, что души убитых блуждают в домах, в которых жили, по несколько лет... Вот посмотри там — не это ли брат с сестрицей стоят и плачут...

Я указал на дальнюю стену, на которой перебегали фантастические узоры лунных лучей. Тамара содрогнулась и стала смотреть на пустую стену с выражением непреодолимого ужаса.

Я быстро вышел и захлопнул за собой дверь, но за мной раздался громкий, истерически смеющийся голос:

— Мертвецы не встают... это твои злые шутки, Кандинский... Ты знаешь сам: они не встают.

Ночь казалась мне бесконечно долгой. Сон бежал от меня. Мучительно долгие часы я блуждал по огромному дому, ступая по полу в тонких шелковых туфлях беззвучно, как призрак. Лунные лучи, пробиваясь сквозь окна большой залы, озаряли старые портреты, и усопшие властелины Кавказа, казалось, выходили из рам и, колеблясь в воздухе, как привидения, смотрели на меня из-под насупленных бровей грозными глазами. Меня охватывало странное настроение, род страха, но, посмеиваясь над самим собой, я силился рассеять его, шутливо обращаясь к портретам, как к живым лицам, и рассуждая приблизительно так: «Сознаюсь, вы смотрите на меня совсем как живые и выходите из рам — странное явление. Но, господа, не думайте меня запугать, как мою Тамару... Я доктор Кандинский — это имя должно на вас подействовать внушительно. Однако, обман зрения продолжается. Вы хотите, может быть, сказать, что я убийца и потому подлежу вашей власти... Положим, я убивал, признаюсь, но это не резон, чтобы вам выходить из гробов... Я не признаю ни зла, ни добра — знаете ли вы это?

Положим, я поступил не особенно добродетельно с одним из ваших отпрысков... Как, однако, вы сверкаете глазами... Я почти боюсь вас, но если меня охватит ужас, то мне будет стыдно... Господа, я — Кандинский, лицо, как видите, во всяком случае действительно существующее, вы же — призраки, игра ума — не более... Прочь!.. Я не боюсь вас!..»

Я стоял посреди комнаты, и мне казалось, что предо мной и за мной, колеблясь в лунном сиянии, выплывали мрачные видения... Они увеличивались и руки их бесконечно удлиннялись, растягиваясь по комнате. Нелепее этого ничего не могло быть, конечно, и я прекрасно сознавал это; но одновременно с чувством страха я испытывал ужас другого рода: ужас сознания в себе убийцы. Никогда ранее сознание это не охватывало мой ум с такой силой. Это было пламя, внезапно озарившее пропасть моей души, на дне которой копошилась моя бледная совесть, терзая меня, и я понял, что мне жить незачем, что во мне поселился холод гробов и что самое лучшее для меня — умереть. Жертвы моих преступлений выходили теперь, точно из какой-то бездны, и вдруг мне представилось дно реки и там крошечный трупик. «Это твой сын, а это вот я», — шептала Джели, колеблясь в лунных лучах, и в мыслях отдавалось: твой сын, и это несомненно — на дне реки, маленький Кандинский. Ужас увеличивался, бездна во мне самом росла и в лунных лучах фигуры портретов казались болезненно-странными и почему-то кровавыми, и вдруг Джели проносилась по зале в бешеной пляске. Мне хотелось бежать, но я понимал, что самое страшное для меня существо — это я сам, а от себя далеко не убежишь. «Кандинский, ты существо сильное», — рельефно пробежало в моем уме, но как будто это сказал кто-то другой за меня, с язвительной насмешливостью, и продолжал: «Да, ты очень силен; вооружись холодом твоих мыслей и рассеяй призраки воображения». И я стал защищать себя от нападений этого другого «я», двойника своего, который сидел во мне: конечно, я человек идеи и несокрушим в своем праве разрушать жизни; кто может доказать противное — желал бы послушать.

Я стал бороться и защищать себя против незримого про-

тивника — моего второго «я», слившегося с моей совестью, и прежняя гордость все более подымалась во мне. Мой ужас стал рассеиваться.

Вдруг дверь, против которой я стоял, раскрылась, точно сорванная с петель. В зал вбежала Тамара со свечой в руке, в ночной рубаше, босая. Болезненно расширенные глаза ее с ужасом смотрели в пространство, точно пред ней находилось привидение; бледные губы раскрылись в испуге; лицо, обрамленное ниспадавшими до колен волосами, было бело, как мрамор.

С лихорадочной дрожью она прошла большими шагами вдоль залы и, когда я шагнул к ней навстречу, остановилась передо мной, как вкопанная.

— Она опять была там...

— Кто?

— Она, она, мертвая стояла у моих ног и выжимала из своих волос воду, и я слышала, как падали тяжелые капли воды на пол, и мне казалось, что вся комната наполняется водой... О, как это ужасно!..

— Галлюцинации!

— Как это ужасно! «Maman, согласитесь, я довольно часто вас навещаю, хотя визиты моей страждущей тени для вас, может быть, и не особенно желательны, — сказала она с кроткой улыбкой, ангельски-кроткой, той улыбкой, которая для меня была смертельно ненавистна. — Зачем вы терзаете моего старичка-отца, *maman*? Выпустите его на волю, или я вас буду щекотать по ночам, пока вы его не освободите». Она протянула ко мне свои длинные, холодные пальцы и я вскочила в смертельном страхе, почувствовав боль и желание хохотать. О, как это ужасно!..

— Да галлюцинации же...

— Я с ума сойду!.. — вскричала она пронзительно, хватывая свой лоб дрожащими руками.

— Надеюсь, однако, что все-таки это только сон...

— Она стояла передо мной, как ты — какой сон!.. Говорю тебе — она щекотала меня... Глаза ее были раскрыты, но странно, они были белы, как молоко, и лицо — прозрачно-бело, как снег... Я с ума сойду!..

— Надо успокоиться, прежде всего...

— От одного ужаса сойду с ума. Жить невозможно, когда по ночам ко мне приходят тени из гробов. Как я буду жить с ними — подумай. Надо умереть. Какую бездну ты вырыл для меня, проклятый доктор, назвав ее свободой... Это — ад, и я прикована к огненному кругу цепями, которые ты сковал...

— А я полагал до сих пор, что расковал твои собственные.

— Будь проклят ты!.. — вскричала она, внезапно охваченная взрывом гнева. — Будь проклят первый час нашей встречи и те лживые речи, которые ты говорил мне. Я хотела бы видеть твои предсмертные минуты и тогда спросить, можно ли убивать ближних. Что ты тогда скажешь? Ты будешь мучительно умирать, потому что тебя окружают толпы демонов и будут гнать тебя в ад...

— Что с тобой, Тамара?..

— Кандинский, ничего...

— Прощай!..

И я пошел к двери, охваченный желанием уехать сейчас же. Меня томила мучительная, глубокая грусть, так как я не мог перенести ненависти ко мне Тамары; боль одиночества, явившаяся вследствие сознания исключительности моего положения в сем мире, сжимала мое сердце. И я подошел уже к двери, но Тамара, опередив меня, вытянулась пред дверью во весь рост и сказала:

— Одна в этом доме! да я умру от ужаса, знаешь ли ты это?

— Ты меня ненавидишь.

— И себя. Это сделали преступления. Мы убийцы. Мою любовь ты превратил в огонь, который жжет меня... Все равно — жить без тебя я не в силах, я умру... Довольно с тебя, глупец!..

Несомненно, она говорила только то, что чувствовала, и мое сердце забилося радостью. Жить без меня она не могла — это ясно, и если ее мучают загробные тени, то это, пожалуй, и лучше: я буду всегда иметь мужество прогонять их. Я нарочно долго стоял молча, не давая ей никакого от-

вета и наблюдая за ней.

— В самом деле, какая мрачная комната...

— Не пугай меня, не пугай!.. Я буду тебя ненавидеть...

— Но эти портреты, смотри, точно призраки, собравшиеся в огромном склепе...

С глубины ее расширившихся глаз снова полился холодный ужас.

— Тамара, я с тобой, и ты ничего не должна бояться. Ничего нет на этом свете сверхъестественного и Он отсутствует. Я готов биться с целыми полками загробных теней за тебя, потому что ты моя...

— Вот ты мне опять нравишься...

— Идем.

Я взял у нее свечу и, когда обнял ее другой рукой, то она инстинктивно прижалась ко мне, как слабый к сильному. Придя с ней в ее комнату, я наполнил стакан крепким вином и приставил к ее губам. Она пила, с каждым мгновением веселее, не отрывая от моего лица глаз, в которых начали вспыхивать искорки — предвестник иного рода бури в душе ее.

«Наконец-то ты моя опять», — думал я, полный чувственной любви и радости. С полукрытыми, страстно смеющимися губами, она потянулась ко мне и наши губы слились, опьяняя нас нового рода вином. Скоро Тамара стала смеяться и вести себя, как вакханка и, обвиняя меня своими волосами, говорила, что когда-нибудь она задушит меня таким образом и потом убьет себя. «Я бесстыдна и наслаждаюсь крайностью распутства, потому что, выражаясь языком поэзии, цветок нашей любви возрос на трупах. Запах крови опьяняет нас... Целуй меня».

Утром, сидя в столовой, мы пили чай, походя на обыкновенную супружескую парочку. Тамара имела вид полновластной хозяйки. Множество слуг спешили исполнить каждую нашу прихоть; но выражение их лиц действовало на нас очень неприятно: виден был отпечаток какой-то мучившей их тайны; иногда слышался подавленный вздох старого грузина-слуги, и этот вздох выводил Тамару из себя. Она немедленно подымалась с места с величавостью оскор-

бленной королевы и, когда мы оставались одни, начинались новые сцены, полные гневных восклицаний и бурных сожалений о прежнем душевном покое.

Дни уходили за днями. Призраки продолжали пугать ее по ночам, и я их разгонял, как мог, но странно: после их посещения всегда начинались оргии, тем более страстные, чем сильнее был предшествующий ужас и чем ярче ум охватывало сознание совершенных преступлений. Глубокая бездна, образующаяся среди моря прыжками волн, подымается тем выше, чем глубже было ее падение. Полагаю, что душа Тамары — своего рода море: оно клокочет, вздымается и, падая вниз, образует пропасти — уныние и страх.

Одна мысль остаться в мрачном доме без меня приводила ее в ужас. В силу одного этого я сделался необходимым для нее лицом. Обыкновенно, днем я уезжал к больным, но к ночи неизменно возвращался. Что, однако, сказать о моих пациентах? Увы, таинственный, очаровательный медик, каким я был прежде в глазах тифлисских дам, начинал превращаться в общем мнении чуть не в чудовище. До меня доходили самые ужасные толки обо мне. Кто-то сказал, что в моей профессии я черпаю материал для глумления над родом человеческим и, как Фауст, заключил союз с дьяволом. Популярность моя росла, но она обвивалась траурным флагом с надписью: смерть. Увы, увы!.. Пациенты мои кончали странно и таинственно. Они умирали от чахотки и от катаров, от горячек и от головных болей — безразлично — и казалось, что над моими больными ангел смерти трубит в огромную трубу, коварно завлекая их в свое царство. В действительности, дело обстояло иначе: дух зла, поселившийся во мне, требовал пищи, настоятельно, с деспотической властью, которой я не мог противиться: мои страшные рассуждения о человеке, о ничтожестве жизни и о моем праве действовать согласно выводам ума, закрепившиеся во мне, так сказать, выдавали чек на право дальнейших действий разрушения. При всем этом, однако же, нельзя было сказать, что я сознательно отравлял больных: казалось только, что я прописываю им лекарства крайне небрежно — вот и все; я не хотел признавать, что какое-то роковое чувство во мне

подталкивало мою руку: лекарства, получаемые из аптек, то затягивали болезни, то усложняли их, то вызывали кризис, после которого больной покидал этот мир. Не думаю, чтобы кто-нибудь решился обвинить меня, потому что:

Дела земные только судят люди,
Намерения лишь судит Бог один.

Не помню — Пушкина, кажется. Таким образом, мы, медики, почти гарантированы от всяких неприятных последствий за те казни, которые причиняют наши лекарства.

XVIII

Совершенно невероятное событие: Гаратов у меня в кабинете — самый невыносимый для меня человек. Он сидит, протянув свои огромные, как бревна, ноги, набирает целый рот табачного дыма и потом сразу его выпускает. Он, положительно, напоминает мне какое-то чудовище. Из его глубоких глазных впадин внимательно смотрят на меня два маленьких глаза, как два светляка из полумрака пещерной расщелины. Я чувствовал на себе его взоры, даже когда не смотрел на него и, шагая по комнате, испытывал приливы сильнейшей злобы. Надо, однако, рассказать, как попал ко мне этот невыносимый для меня гость.

Как я упоминал уже, Гаратов в последнее время стал вести себя очень странно в отношении меня: он буквально меня преследовал своими неожиданными появлениями, иногда, точно из-под земли, вырастая предо мной. Конечно, это меня злило и мучило и заставляло тревожно думать, что он задался целью проникнуть в тайники души моей, может быть, даже догадываясь о причинах моих неудачных лечений. Часа два назад произошел маленький инцидент — вот какого рода. Я находился у ложа своего пациента, представьте — восьмидесятилетней старухи — светлейшей княгини. Можно легко вообразить, что я впал в самое сар-

доническое настроение, когда стал вглядываться в грудку костей, одетую в мешок из желтой, морщинистой кожи, и когда предо мной предстала задача — поднять это тело и вдохнуть в него струю новой жизни силой какой-нибудь дивной микстуры. Нелепость такой задачи мне представлялась гигантской, как Александрийский столп. Я мысленно спрашивал себя: зачем, и ответа не находил никакого; однако же, вздохи и слезы, блиставшие на глазах целой дюжины дочек и внушек княгини, окружавших ее ложе, говорили о существовании иного мнения. Уму моему представился контраст между чистотой чувств людей мира этого и моим духовным холодом, я видел, что нас разделяет бездна и в душе моей, как змея, зашевелилась злость. Невольно в воображении моем восстали мертвецы-пациенты, которых я лечил, и как их было много, как много!.. Они поднимались один за другим и я невольно думал: может быть, ты был бы жив, молодой человек, если бы не мои пилюли, прописанные тебе с легкомысленной игричностью; возможно, что и ты, старик, продолжал бы еще блуждать по нивам мира, если б я не отрезал тебе ногу, объявив, что иначе тебя ждет смерть — и солгал, солгал: злоба моя требовала пища и потому ампутация твоей больной ноги соблазнила меня; а ты, девица, наверное была бы жива, но ты умерла под ножом, как жертвенный козленок, а может быть, ты слишком хорошо была усыплена хлороформом — не знаю. И еще, и еще, и еще! — о, как много вас, как много, и ни одного обвинителя, все в гробах, и прилипли их языки к гортани, не подымутся и не укажут на меня: убийца — ты.

Непостижимо странно: чем яснее мне представлялось это кладбище бывших моих пациентов — я почти ощущал запах гнили и червей, — тем настоятельнее подталкивало меня приобщить к их компании новую светлейшую гостью. Во мне было все мертво, как в пустыне, и казалось, какие-то огненные языки жгли меня и шептали: вперед, вперед. Куда — я не спрашивал, так как чувствовал, что впереди меня — бездна.

Лекарство было принесено, но прежде, чем испытать его действие, я обратился к присутствующим с речью. О, эти ре-

чи и красивые слова, и как часто я их импровизировал теперь, и с каким подкупающим видом. Я говорил о том, что больная непременно должна скончаться к вечеру, если ее не лечить: только моя микстура дает очень маленькую надежду на наступление благоприятного кризиса. Конечно, этим я ничем себя не обязывал, тем более, что нарочно упомянул о возможности печального исхода для больной сейчас же после первого глотка волшебной влаги, но добавил при этом, что принцип все-таки говорит в пользу врачевания. Такой прием — самый обыкновенный у медиков в критических случаях.

Моя мрачная речь заставила светлейших девиц и маманек безнадежно опустить свои головы, причем произошло общее движение и среди мертвой тишины девочка лет девяти тихо расплакалась. Я посмотрел на нее и во мне созрела дьявольская мысль, и вот, немного спустя, ребенок, по моей просьбе, преподносил ко рту умирающей ложечку с микстурой. Невинная ручка и невинная улыбочка сквозь слезы на лице младенца: кто мог заподозрить в ней маленького палача! Все смотрели с умилением, видя в ней земного херувимчика, и только мне рисовалась еще чаша с ядом в маленьких ручках. Мне доставляло странную приятность думать, что убивать могут не только демоны, как я, но иногда может совершить это и ангел... с райской улыбкой.

Больная широко-широко раскрыла ввалившиеся глаза и, минутой спустя, я имел возможность констатировать... смерть. На меня все смотрели с ужасом и недоумением, но ужас людей в меня вселял род какого-то отчаянного веселья. С тверда сжатыми губами, по которым, кажется, змейкой пробегала тоненькая, злая улыбочка, с высоко поднятой головой, как у человека, который считает себя выше всех подозрений, я отошел от трупа в другую комнату.

Там, в полумраке, виднелась чья-то фигура; я стал присматриваться и содрогнулся: передо мной, как привидение, появившееся неизвестно откуда, стоял Гаратов. Он смотрел на меня пристально-спокойно, точно всматривался в глубину колодца, на дне которого видел не воду, а огонь, и спокойно хотел уяснить себе этот феномен.

Так прошло минуты две, и трудно сдерживаемая злость все более овладевала мной. Я заносчиво поднял голову и хотел уже пройти мимо, но мой враг сделал два огромных шага и тихо проговорил:

— Дряхлая была старушенция, и вы правы, думая, что такое существование ни к чему... В вашем лице я прочитал эти мысли и еще другие и подкараулил злость особенно утонченную, этакую...

Я содрогнулся, как преступник, и мой язык пролепетал:

— Мысли прочитали мои!.. Как вы их читали... странно.

— Нет, не странно: я учился читать эту книгу — лицо ваше, и вот на нем было написано: такие старушенции — дрянь; претендуют на жизнь — умора, и досадно лечить, и пусть убираются лучше... бац! — вы и постарались...

— С ума вы сошли, Гаратов!

— Смертный яд на сердце вашем...

— Что?!..

— Осадок от дум мучительных и гордых.

— Осадок дум и яд!.. Каким языком вы выражаетесь, библейским, может быть...

— Сокращенным... Но вы бледнеете и какой нервный — страх...

— Черт побери, какой шутник вы, удивительный шутник!..

Я чувствовал, что теряю самообладание, как-то неуместно улыбаюсь, и я скорее пошел к выходу с удивительным ощущением: мне казалось, что на своих плечах я ношу удивительную голову, светящуюся, как хрустальный шар, сквозь который виден мозг и движение мыслей в нем... «Какая дикая иллюзия...» — думал я, спускаясь по лестнице, но иллюзия не рассеивалась окончательно и, повинувшись какому-то болезненному чувству, я ступал с осторожностью, точно боясь разбить драгоценный шар. Скоро, однако же, мне удалось овладеть собой, но чувства мои почему-то утончились до высшей степени: до моего слуха доносился плач родственниц умершей, и я различал каждый голос в отдельности.

Подойдя к своему экипажу, я занес уже было ногу, чтобы сесть, но что-то заставило меня оглянуться: Гаратов стоял

за мной и смотрел на меня спокойно и внимательно.

— Пожалуй, пойдемте вместе, Гаратов, пешком.

Я хотел наказать надоедливую человека, но наказан был сам: он шел рядом со мной, не спуская с меня глаз — версту, другую, третью. Наконец, я ступил на крыльцо своей квартиры и обернулся.

— Вы имели поистине адскую любезность совершить со мной все это путешествие, и, надеюсь, не откажетесь зайти ко мне.

Гаратов кивнул головой и вошел вслед за мной, и вот уже часа два как он сидит у меня и молчит, молчит упорно, нестерпимо молчит.

Злость моя, однако же, как-то рассеялась, может быть, потому, что меня мучило теперь желание знать, что думает он обо мне и что он, наконец, скажет. Любопытство и тревога в душе — и ничего больше. Но вот теперь, когда, как мне казалось, у меня был тайный свидетель моих медицинских преступлений, я почему-то упорно возвращался к моим идеям о человеке, как автомате, и силился проверить их. Минутами, когда мне казалось, что я безусловно прав, меня охватывало какое-то торжествующе-веселое настроение и хотелось засмеяться Гаратову в лицо и высказать ему свои мысли, но потом, вместе с сомнением в своей правоте, являлась тревога и еще большее желание знать, что думает он обо мне. «А этот черт что-то знает, — думал я, — но разобрать Кандинского нелегко: мои мысли — холодные вершины гор, до которых не добраться людям; они высоки и холодны. Кандинский останется загадкой, как природа. Истина или заблуждение — в этом весь вопрос, и вот он, человек-автомат, вот скелет и вот внутренности его, откуда исходит мелодия чувств и мыслей. Отправить к праотцам миллион жизней для меня ровно ничего не значит».

Думая так, я стоял перед скелетом и моделью сердца, печени и легких, созерцая все это с чувством гадливости и презрения.

И вдруг раздался спокойный, уверенный голос:

— Человек — машина и наш божественный дух то же, что искры из трубы, и потому жизнь и смерть совершенный пу-

стяк... Можно и для забавы, пожалуй, удлинить или укоротить дни бытия земного.

— Вы магией занимаетесь или волшебством, и знаете — это мои мысли!..

И я смотрел на него с чувством безграничного изумления. Каким образом он мог подсказать мне мои собственные мысли — я не понимал.

Гаратов, между тем, выпустив сразу изо рта облако дыма, сказал:

— Ваши мысли — да, знаю. Однако, вы сами утверждаете это.

— Нисколько.. совсем нет... Ваши претензии читать меня, как книгу, меня только смешат...

Спохватился я, однако же, поздно, и Гаратов перебил меня:

— Напрасно трудитесь: сами сознались — чего же больше? И вас напрасно так уже это удивляет и тревожит. Мои претензии знать вас, может быть, дерзки — не спорю, но человек я все-таки скромный и никому не выболтаю, какая трагическая пляска мыслей совершается там — в голове вашей: я люблюсь этим сам. Вы заинтересовали меня уже давно. Лицо — бледного честолюбца, холод и дерзкая скрытая насмешка, презрительное равнодушие, которое подчеркивается вами умышленно, как бы в силу гордости и сознания, что все ничтожно в этом мире и заслуживает разве одного вашего плевок. Тонкая злость шевелила губы ваши и, что самое интересное, когда вы смотрели на безобразного больного, она усиливалась и светилась даже из глаз. Очевидно, вид больного вызывал в вас отвращение и даже злорадство — да-с, и тайное издевательство, прелесть которого ведома только вам. Больные ваши для вас не более, как толпы карикатур, и вы созерцали их со злорадной приятностью. Все это я в разное время подметил в лице вашем и вы заинтересовали меня страшно. О, вы лишили меня сна! Откуда такой характер — я недоумевал, и характер ли это только: я отрицал такую возможность; мне казалось, что над всем этим царствует скрытая работа мысли и что извращение чувств есть только отражение гордого полета ума с окраской отчаяния. Я стал

наблюдать за вами и убедился, что я прав. Вы, конечно, помните, как однажды напоили моей микстурой в увеличенной дозе больного оспой. Вы рассказывали об этом с такой зловещей иронией, что я сейчас же понял, что в вашей душе поселился демон зложелательства... вы ненормальны...

Последнее слово произвело на меня страшное действие: ведь самые ужасные обвинения были ничто в сравнении с признанием Гаратова, что я ненормален. Пускай скажут, что во мне поселился сам сатана: что ж, я подумал бы только, что близкое знакомство с такой сильной особой нисколько не должно компрометировать меня; скажут «убийца» — ровно ничего не значит, так как акт разрушения жизней — результат идей Кандинского, равнодушного к людям, как сама природа; но сказать, что я умственно-больной — это толчок, разбивающий вдребезги все величавое здание моих идей. И это тем более было для меня ужасно, что я всегда весь человеческий род признавал нервнобольными, жалкими людишками, но себя я старательно выделял из этого стада.

Я стоял перед своим ужасным противником и нервно содрогался, и казалось мне, что как будто я сделался тоньше и выше, и из глаз моих исходило странное, болезненное свечение и точно по всему моему организму разлилась какая-то ужасная болезнь. Я воскликнул с напускным смехом и раздражительно:

— Вы шутник, господин Гаратов. Рассказывайте это вашим душевнобольным... Вы забыли, конечно, что перед вами я — доктор медицины Кандинский...

— Я говорю это вам — доктору медицины Кандинскому — с полной уверенностью.

— Вы с ума сошли!..

— Заметьте, — мои слова — результат наблюдений над вами, и самых добросовестных...

— Какой вздор!..

— Вы, однако, чрезвычайно чувствительны в этом месте. О, я понимаю. Вы парили над миром, как орел, и вдруг осознать, наконец, что все это парение — результат болезненности — ужасно неприятно. Но оставим все это на время, так как я хочу окончить. Слушайте.

Противный Гаратов потянул дым из своей отвратительной сигары и, посидев некоторое время с отдутыми щеками, раздвинул губы. Выпустив сразу целое табачное облако, он продолжал:

— Демон зложелательства, поселившийся в вас, рос и развивался, обкуриваемый ядом ваших идей. Иначе это и быть не могло. Из резервуара вашего мозга катились волны мыслей по всем сосудам и нервам вашего организма, утончая и извращая все ваши чувства, в том числе, конечно, и совесть. Для меня стало ясным, что в силу такого процесса вы стали, так сказать, вне закона нашей человеческой природы: что радовало нас, вас печалило, что вызывало в обыкновенных людях слезы, в вас вселяло злорадную радость...

— Ну и что ж!.. — воскликнул я на мгновение, почувствовав в себе прежнего Кандинского.

Он посмотрел на меня так, что, казалось, свет его глаз проник в мою душу, и улыбнулся; по улыбке этой я видел, что он понял мое восклицание и мгновенно охватившую меня радостную гордость.

— Вздор!.. — воскликнул я резким голосом в чувстве полного смущения.

— Что вздор?

— Ничего, продолжайте.

— Хорошо, я продолжаю. Что ваш ум отравлен — нечего и говорить. Но, кроме того, я приходил к выводу, что в области ваших мыслей существует главная идея — ядро, из которого пошла порча. Вероятнее думать, что она — большое дитя, порожденное нашей наукой, так как всякая специальность обыкновенно наполняет умы свойственными только ей микробами знания...

— Микробами знания!.. Это еще что за язык!.. Ха-ха-ха!..

— Смейтесь, если выражение смешно, но микробы, заражающие ум, имеются во всех знаниях... Астрономия, например, может сделать человека совершенно нечувствительным к земному бытию, напитать его, так сказать, звездным светом, так что ученый муж будет казаться только тенью человека. Законоведение может повлечь за собой отрицание всякого права в ученом правоведе, наполнить ум бесконеч-

ными софизмами, так что жертва науки станет доказывать, наконец, что черта надо увенчать лаврами добродетели, а ангела — заковать в цепи. Медицина дает особенно много материала для умственного самоискалечения... Отравиться ею легко... Однако, я не продолжаю: вас это волнует...

— Нисколько. Меня ничто не может волновать — ни живое, ни мертвое.

— Мертвое даже?..

— Мертвое!..

— Скоропостижно скончавшаяся от болезней...

— Что?!..

— Ага!..

— Продолжайте же ваши истории. Только для меня все это старо, как азбука. Я давно это знаю.

— Еще бы. Вы полагаете, что все знаете. Однако, вы бледнеете...

— Продолжайте.

— Итак, я долго не мог уловить, в чем идея ваша, и только некоторые фразы ваши, сказанные с видом глубочайшего презрения, стали открывать завесу тайн, сокрытых от мира сего... Раз, например, в присутствии нас всех, вы сказали: «Если правда, что существует Бог, то Он должен быть не чем иным, как только колоссальным организмом с бесконечно сложной системой нервов... Дайте мне Его вскрыть — я объясню природу, движение звезд небесных и все сокрытое...» Вас страшно было слушать; лицо бледное и странный свет в глазах...

— Я шутил.

— Знаю. Но странная шутка, характерная... да не совсем она и шутка. Вас била по нервам она, шутка эта, странная она такая, злая, и вы таким казались удивительным. Вот я и думаю — чтобы так шутить и вознестись к Богу с шуткой этой, надо, чтобы в уме вашем непрестанно жило убеждение, что мы, двуногие земли — организмы с сетью телеграфных проводов-нервов, разбирать которые вы хорошо умеете... гасить жизни и, пожалуй, зажигать в добрую минуту... Из этого зерна могут обильно разрастись всходы, если рас-

кидывать умом широко и неустанно... Так с вами и было... Думали, презирали, гордились, возносились.

— Вздор!.. — воскликнул я с нервным смехом.

— Идеалист вы, заметьте, а не наоборот,— как думаете...

— Как думаю!.. Опять читаете мысли!

— Только идеалист падает с высот... вы пали, без сомнения, еще в юности вашей... как идеалист, вы оскорбились грубостью бытия и пали в злобное отрицание... Прозаик не бунтует, примиряется с окружающим и живет, улыбаясь пошло. Но продолжаю. Сегодня, да вот хоть сейчас, я вас раскрыл совершенно, слушайте. Вы здесь ходили по комнате, а я молчал, наблюдая... Вас мучила мертвая старушка и мучило мое молчание и любопытство знать, что я думаю вас; вы боялись, что я обнаружу легкомысленность вашего врачевания. Это я видел по беспокойному перебеганию ваших глаз, посматриванию на меня с дерзостью и злобой. Затем настроение ваше переменялось и вы как бы ушли в колодезь — в идею вашу: глаза углубились, зрачки стали неподвижны, лицо окаменело. Так продолжалось долго: вы копались на дне вашего колодца и даже согнулись как-то, точно под какой-то тяжестью... Но вдруг вы вздохнули легко и, выпрямившись, зашагали смело, как победитель. Очевидно, в сотый раз проверяя справедливость ваших мыслей, вы вышли с торжеством из этой борьбы в вас — отрицания и утверждения. Ведь это с вами так всегда бывало, потому что вас непременно должно было охватывать глубокое и мучительное сомнение в вашей правоте. Вы всегда боролись в себе самом и это страшно мучило вас. Итак, в течение некоторого времени вы внутренне торжествовали и походка ваша была, как у льва — гордая, легкая. Вдруг вы остановились, задумались и губы ваши стянулись с удручающей грустью. Я понял, что вы снова попали в ваш колодезь. Потом вы медленно-медленно пошли и, неожиданно снова остановившись пред этим скелетом, стали смотреть на него и на сердце, и на все те штуки, принимая прежний вид, — гордый, торжествующе-насмешливый, презрительный... Идея ваша тут выразилась ясно и очевидно — я не ошибся: анатомия завоевала вас... От этих аппаратов вы шли выше и,

добравшись до Господа Бога, стали представлять Его себе гигантским организмом с сетью нервов и клеточек. Мертвецы наказали вас за то, что вы резали их с такой яростью: вы сами стали мертвым среди живых. Довольно, можно на этом покончить пока...

Он умолкнул, наконец, а я стоял и молчал, глядя на него. Необыкновенное ощущение болезненности и какого-то неведомого мне страха охватило все мое существо. И все это странно мешалось с глухой яростью, на этот раз бессильной. Мгновениями мне хотелось броситься на него и сдавить ему горло, но тогда страшное слово, как молот, било в мой мозг, — «ненормален». Во что бы то ни стало, однако же, надо было разбить своего врага и, почувствовав внезапную энергию при этой мысли, я с резкостью, полной ядом насмешки, напал на него.

— Гаратов, вы поистине самый милейший человек, но очень странный. Посмотрите, даже из прорех вашего платья сквозит самая девственная честность.

Гаратов взглянул на меня простодушно — слово «честность» его тронуло — и, протянув свою огромную ногу, повертел ею с ее рыжим сапогом, как бы любясь им.

— В таком случае, и из дыр моих сапог, посмотрите.

— Прекрасно вижу и лучше, нежели вы мои мысли. Вы имеете ужасный вид. Девственная честность и такая же философия скоро заставят вас ходить по улицам в таком же девственном костюме, в каком ходил Адам до изгнания его из рая.

Гаратов покраснел.

— Это ничего. Предрассудок толпы... к тому же я не беру с больных...

— И сделались предметом осмеяния.

— Меня ненавидят коллеги... но это к делу не относится, Кандинский.

— Позвольте. Здесь два представителя медицины. Одно из нас наука научила материализму, в вашем смысле слова, это я; в другого вдохнула самый пламенный жар любви к ближним — это вы.

— Ошибаетесь: никакой пламенной любви нет.

— Теперь подойдемте оба к зеркалу и вы решите сами вопрос, кто из нас более походит на смешного, странного, болезненно-чувствительного субъекта — вы или я.

— Не к чему подходить к зеркалу, — пробасил Гаратов, упрямо тряхнув косматой головой. — Вопрос можно разрешить и без этого: я, конечно. Ваша изящная наружность, элегантный костюм, манеры, исполненные грации — все это действует подкупающе на людей, но меня этим не обманете: я вижу хорошо, что ваша совесть болезненно извращена, воображение уносит ваше «я» на гигантских крыльях, сердце опустело, как заглохший сад, а мысли долбят дыру — могилу Кандинского.

Он умолкнул, а я снова почувствовал, что во всем моем существе как бы разлилась болезнь. Осмеять Гаратова мне очень хотелось, но в тоже время меня неудержимо влекло разбить его помощью моих идей. Я чувствовал, что делаю глупость, что выдаю себя с головой, как преступник, но желание доказать истинность своих мрачных воззрений разбивало волю и влекло меня дальше и дальше. И, стоя перед отвратительным человеком и внутренне рисуясь своим презрением ко всему живущему, я с увлечением стал развивать свои мысли, уходил в самую глубину их и мрачно, и страшно иллюстрировал человека, как автомата-машину, и неизбежный вывод получался, что весь мир его идей и чувств — колоссальный самообман, что совесть и любовь — нервы и что если природа является разрушительницей жизни, то нет основания обвинять за убийство человека, в особенности, если оно вызывается гуманной целью — сократить страдания.

Моя длинная речь лилась плавно и стройно и была проникнута презрением к ходячим мнениям людей. Минутами я останавливался, желая знать, не пожелает ли возразить что-нибудь на все это Гаратов. Но этот противный человек упрямо молчал, видимо, не желая проронить ни единого слова. В конце концов, я выказался вполне или, говоря иными словами, выдал себя с головой. И когда мне нечего было уже доказывать, я стал смотреть на своего врага, пораженный своим собственным диким поведением, с

волнением и злобой.

— Говорите же что-нибудь... О, черт возьми — хоть слово!..

Противный человек усмехнулся простодушно-лукавой усмешкой и поднялся.

— Да, вы весь раскрылись, Кандинский, и я вижу вас, как будто вы представляете собой хрустальный ящичек, в котором всякие удивительные вещи. Теперь я более богат знаниями, большое вам спасибо.

Он простодушно протянул мне свою огромную руку, но с улыбкой тонкой и лукавой. Мне хотелось броситься и задушить его, но, когда он пошел к двери, у меня невольно вырвалось:

— Подождите, Гаратов!.. Еще поговорим!..

— Не беспокойтесь, прошу вас... Мы будем часто беседовать и, полагаю, придем к определенным выводам... Очень хорошо, что вы раскрылись.

В этот момент дверь распахнулась и в комнату вошел фельдшер — человек маленький и горбатый. Он объявил мне, что отравилась такая-то девушка и меня ожидают для вскрытия.

— Да поздно теперь... Почему не утром? Надоели мне эти вскрытия... а надо идти...

Произнося эти слова, я старался скрыть — главное, от Гаратова — чувство охватившей меня радости. Странно, конечно, что я почувствовал ее, но не непонятно. Гаратов пошатнул во мне мою веру в себя, и все мои прошлые мысли толпились в уме моем, как зловещие птицы в бездне, перебивая друг друга и как бы говоря мне: «Мы тебя покинем, и что тогда станет с Кандинским?..» Я знал, что все мое здание, сплетенное из холодных мыслей, рассыпется, как карточный домик, но это будет не ранее того времени, когда его оставит единственный бог — вера в себя. Желание спасти божество свое сделало то, что я смело шел теперь резать мертвое тело, как на бой.

XIX

Спустя некоторое время, я проходил по длинным коридорам к анатомической камере. В большой комнате со стоящим посреди огромным столом покоилось бледное, с разбросанными руками тело мертвеца и сидели несколько врачей и горбун-фельдшер. При моем появлении врачи поднялись и, окружив меня, начали рассказывать о самоубийце. По их словам, эта девушка, искипительная жертва темперамента тифлисских обывателей — существо очаровательное, неожиданно умершее от болезни или отравы — неизвестно. Делалось также предположение, что ее отравил ее отец, чтобы пресечь ее дальнейший позор.

— Господа, разных историй на этом свете так много, что вам все равно их не пересказать, а что именно происходило вот с той особой, что на столе — не все ли это равно? Вы говорите, она была прекрасна — очень может быть, но мертвая Венера и мертвый Квазимодо — только гниющие, одинаково противные трупы; вы в этом сами сейчас убедитесь, когда отвратительные внутренности выйдут наружу. Так все непрочно на этом свете, что вполне понятен вопрос: «Человек, зачем, зачем живешь ты?!..» К делу!..

И я направился к трупу с насмешкой на губах, с ледяным презрением в душе. Охваченный каким-то боевым чувством, я шел резать труп, как на поединок, и неудержимо желал доказать всем, что исключительно я один таю в своем холодном уме мир истин, слишком ужасных, чтобы их могла выдержать чувствительность обыкновенных людей, но несомненных: человек — машина: мир чувств и мыслей, добро и зло, порок и добродетель — иллюзии; демон и ангел — две лиры с различными струнами. Организмы различны и потому жизнь — хаос, среди которого сливаются в одно беснования, слезы, проклятья, благословения, убийства, блудодеяние — поистине адская музыка. Среди всего потрясающего концерта — ужаснее всего ревет миллионноголовой бог — бог страдания. Поистине, убивать — значит спасать, и я в сотый раз прихожу к заключению, что я, Кандинский,

невинен.

И вдруг, подойдя к мертвому телу и взглянув на него, я вздрогнул, потом как бы застыл в одном положении и не мог уже отвести от него своих глаз. В нем увидел я что-то страшно знакомое мне, прелестное и очень молодое, но главное, настолько знакомое, что я ужаснулся. И долго я не мог понять, кто же эта передо мной, и вдруг сердце мое болезненно сжалось и в уме пробежало: Джели, Джели!.. Да, передо мной она — неподвижная и холодная, но прекрасная и как бы погруженная в глубокий сладостный сон; глядя на нее, не верилось, что это только бездушный труп; хотелось думать, что она спит.

Обнаженное холодное тело ее сохранило все очертания еще не совсем развившихся женских форм, и от света, бросяемого лампой, оно казалось розоватым и золотистым. Тонкую шею мертвой Джели окручивали красные, как кровь, бусы и падали на ее груди, как тяжелые капли крови. Мне были знакомы они: она их купила после первой ночи моего знакомства с ней, на деньги, которая тогда, в упоении счастья, она решилась от меня взять, и в последующие ночи я часто спрашивал: «К чему это?», и получался ответ: «Когда ты меня бросишь, я лягу с ними в гроб».

«Странно, непостижимо странно», — проходило в моем уме, и незнакомый мне страх перед загадочной судьбой, выбросившей мой жертву ко мне на стол, точно для того, чтобы и после смерти я мог бы разрезать ее тело, как при жизни — сердце, холодил мою кровь и сковывал мои члены, и я не мог отвести от нее глаз.

Мертвое лицо ее было спокойно, как у спящей, и застывшие полуоткрытые губы, в которых белелась полоска зубов, застыли в вечной улыбке. «С улыбкой она передо мной и я ее должен резать», — и это меня поражало, и поражали меня также ее голубые, неподвижные глаза с полуоткрытыми веками, что им придавало полупрезрительное выражение, как бы отвечающее на все мое зло одним кротким равнодушным презрением; мне казалось, что я читаю в ее глазах: «Пустяк жизнь, не стоит и сожалеть; я теперь поумнела после смерти; а ты, доктор, глуп: человек есть дух и все

в нем тайна, а что ты думал — вздор. Впрочем, не стесняйся — режь мое тело — снесь червей».

«Странные иллюзии», — думал я, силясь рассеять их и вооружиться своей прежней дерзкой самоуверенностью, но ничто не помогало. Сквозь реальный мир моих мыслей пробивалось какое-то неуловимое сияние иного мира, не вещественного, находящегося вне моего понимания. Мысль о возможности существования его тревожила совесть и чувства, которые я всегда оледенял холодом своего ума, и вселяла страх перед чем-то неизвестным. Невозможно было отогнать мысль, что природа в видимом теле из крови, костей и нервов — в этой анатомической машине — скрывает свои невидимые, непостижимые тайны. Тайна смотрела на меня из неподвижных глаз мертвой, как будто из-под завесы иного мира; в улыбке ее скрывалась для меня тайна: она казалась одухотворенной, и красота, озарявшая это мертвое тело отблеском рая, была непостижимой загадкой; в ней чувствовалось проявление вечного божественного мира, гармонии и радости неба без мук.

«Странно, странно, странно!..» — повторялось в моем уме и, точно ударяя по нервам, разбивало мою волю и мысли. Я не мог отвести своих глаз от знакомого мне образа, не мог пошевелиться. «А я играл ею и бросил ее с жестоким легкомыслием под ноги проходящих, а она — тайна, и жизнь — тайна». И теперь мне казались страшно-дикими, достойными сожаления все мои умствования, «змеиной гордости плоды», а сознание, что жизнь тайна, охватывало меня как свет, который наполнял ум мой и сердце. Чувствовалось, что что-то подползло к моему горлу с судорожным биением, не то нервный смех, не то слезы; мне хотелось рассмеяться и расплакаться одновременно, и среди всего этого ужас непостижимый, непонятный пред всем, что происходит теперь, ужас перед моими убийствами и ужас перед тем, что я должен сейчас делать: взять сталь и резать это, казавшееся мне живым, трепещущим скрытой жизнью, тело.

Прошло, может быть, минут десять или двадцать, не знаю — я оставался как бы в оцепенении. Шаги, раздавшиеся вокруг, вывели меня из этого состояния. «Не болен ли я и в са-

мом деле, — подумал я, вспоминая слова Гаратова. — И что подумают обо мне эти!..»

— Что с вами?

— Ровно ничего, — ответил я одному из своих коллег. Самолюбие и страх показаться нервнобольным мгновенно зажгли во мне прежнюю смелость.

— Вы бледны, очень бледны.

Я выпрямился и поднял голову, но весь вздрагивал, и я думаю, что в это время казался странным и страшным. Меня снова охватило прежнее боевое настроение, но нервы мои, казалось, были натянуты, как тончайшие струны, от малейшего движения которых я весь содрогался. Я ответил, что совершенно спокоен.

— Бывают минуты с самыми сильными людьми, когда твердость их покидает. Это мертвое тело — прекрасно. Хорошенькая была девочка. Смотреть на нее долго, пожалуй, на вас могло повлиять...

— Что?! — воскликнул я резко и с насмешкой.

— Красота мертвой девушки могла повлиять...

— Я вам докажу сейчас противное и вы увидите, насколько я склонен к чувствительности. Однако, не мешайте, господа. Самое лучшее, если я один останусь; мне никого не надо.

Все без исключения ушли и маленький фельдшер, подавший мне скальпель — последним. Сжимая сталь в руке, я наклонился к трупу.

С наклоненным корпусом, с рукой, судорожно сжимающей страшный нож, острый конец которого прикасался к телу и дрожал, я стоял в каком-то странном оцепенении. Мертвое тело для меня положительно превращалось во что-то жалкое, чудесное и безгранично-грустное. С этим бредом ума моего я не мог справиться, и мне казалось, что как только я погружу в тело нож, оно содрогнется, как живое. «О, Кандинский, ты уничтожен и где твоя воля — гордость твоя! Попробуй, погрузи скальпель и увидишь, как он войдет в застывшую, липкую кровь — труп и ничего больше».

Любопытство знать, так ли это, терзало меня, и в момент, когда во мне как бы рассмеялось что-то при мысли, что пре-

до мной раскроется сейчас обычная отвратительная картина внутренностей, оно двинуло мою руку и я не заметил, как скальпель глубоко погрузился в тело. Я приостановился и среди страха, радуясь победе над самим собой, взглянул в лицо мертвой. То, что я увидел, было ужасно и непостижимо: углы застывших губ ее дрогнули и опустились вниз с невыразимой болью и тоской, выдвигая еще резче белую полоску зубов, и в этот момент мне послышался едва уловимый крик боли внутри нее. «Галлюцинация слуха и зрения — обыкновенная штука», — подумал я сейчас же, но рассеять охвативший меня ужас мне не удалось: он овладел мной, так что кровь, казалось, остановилась в жилах моих и рука моя, с погруженным в тело ножом, задрожала. Однако же, я не бросился прочь от трупа; сила более могущественная, нежели страх, удержала меня на прежнем месте: может быть, это было тайное желание испытать чашу ужаса до дна.

И я долго смотрел ей в лицо. Губы ее чуть заметно двигались, неуловимо, но с удручающей горечью и как бы со страданием, так что, казалось, она сейчас вскрикнет от боли. И вдруг мне послышались звуки плача, тоненькие и жалобные, как плач младенца. «Младенец плачет!... но он на дне реки... Странно, странно! Я с ума схожу и Гаратов прав, конечно». И в то время, как в моем уме кружились эти мысли и рисовался кровавый ребенок, углы губ на лице трупа опустились еще ниже и затрепетали в нервном смехе. Теперь для меня стало ясно, что я с ума сошел и галлюцинирую, как сумасшедший, и это подняло во мне внезапный порыв злобы, который, как вихрь, сорвав мачты с корабля, сломал мою волю и все перепутал в душе моей. В чувстве озлобления и отчаяния, не отдавая себе отчета, что делаю и наклонившись низко над трупом, чтобы не видеть его лица, я два раза повернул свое орудие в холодном теле, не так, как это делает оператор, а как разбойник. Смутно сознавая, что я делаю что-то ужасное, я освирипел, озверел; я боялся, смертельно боялся мертвой, боялся снова услышать этот вопль и мной все более овладевали ярость и ужас, не поддающиеся описанию. Полный вздорной мыслью умертвить

ее вторично, чтобы только не видеть ужасного движения ее уст и не слышать плача, который вселял в меня безумие, я стал изрезывать труп глубокими бороздами, как обезумевший убийца свою жертву. В этом состоянии я уже не помнил, что я доктор и что передо мной бледное мертвое тело; мне казалось, что это нечто живое, враждебное мне, что издевается надо мной и что непременно надо уничтожить. Странно, что во все эти минуты мне казалось, что я не один, а окружен всеми моими жертвами-пациентами, которые насмешливо кивали мне головами и шептали: «Вперед, очень хорошо... так, так, ты ее прекрасно зарезал и теперь она не заплачет и не улыбнется. Славно, Кандинский!.. Теперь осмотри внутренности этого тела и уверь себя, что ты прав, что убил нас... Красное, безобразное, ужасное — анатомическая машина, объясняющая человека и снимающая с тебя всякую ответственность за убийство нас».

Безобразные мысли теснились в голове моей, мешаясь с моими прежними идеалами доктора Кандинского, но последние мне казались жалкими и дикими.

«Ах, Кандинский, ты зарезал ее, несомненно зарезал, и она, конечно, больше не улыбнется». Я остановился, повинаясь этому голосу во мне, насмешливому и страшному, звучащему, как мое второе «я». С неудержимым любопытством, с нервной силой сжимая сталь в руке, как это делает разбойник, готовый снова вонзить ее в тело своей жертвы при первом ее движении, я взглянул в лицо трупа и с нервным содроганием всего тела стал выпрямляться, роняя нож.

Мертвая Джели смотрела на меня, смотрела, как живая, расширив большие ясные глаза с невыразимой печалью, ужасом и укором. Ужас обдал меня могильным холодом и на голове моей зашевелились волосы: я чувствовал, что к ним как бы слегка прикоснулась чья-то воздушная рука.

Она на меня смотрела, может быть, из-за могилы, но она несомненно смотрела на меня. Лучи ее глаз доходили до моих собственных глаз, как лучи заката, и все это было необъяснимо странно и ужасно; ужасны для меня были эти небесно-кроткие невинные глаза, потому что я видел изрезанное мной в диком неистовстве тело с кровавыми внут-

ренностями его — всю анатомическую машину, вывороченную кровавой массой своей — и видел жизнь и яркий свет в глазах ее. С иного мира смотрела на меня душа ее и это опрокидывало все мои прежние мысли. Я стоял и трепетал, холод гробов пронизывал все существо мое и магическая сила приковывала мои взоры к ее глазам, так что я не мог шевельнуться. Но и здесь, посреди смертельного ужаса, во мне все яснее начинали слышаться отзвуки мыслей прежнего страшного доктора: «Ты с ума сошел, это очевидно, но постарайся найти объяснение непонятным явлениям; ты — доктор, человек глубокомыслящий, с гордой холодной волей. Очевидно, в расстройство пришел исключительно твой собственный психический мир, но у тебя есть воля — холодное, могучее божество в этом мире: восстанови нормальный ход в машине твоей и постарайся понять мнимый феномен. Тебе *кажется*, что она смотрит, несомненно *кажется*, да еще с горнего мира... Перемени место и нагнись к ней».

Я шагнул и нагнулся к лицу трупа, но от страшного усилия, которое я сделал над собой, мне показалось, что моя поясница сломилась, как палка. Запах разлагающегося трупа пахнул мне в лицо, как из-под раскрывшейся крышки гроба — знакомый запах и несколько не страшный мне, и я смотрел в лицо с удивлением и радостью победителя: передо мной было обыкновенное лицо трупа.

«Воля — бог, и он во мне, следовательно, я — бог, разторгнувший цепи чувств. Разрушать жизни, согласно начертаниям холодного ума — таков мой план — и жить удовольствием сознания, что я один стою выше своей человеческой природы».

Мысли эти возносили меня, как на крыльях. Воображению моему представились огромные толпы мертвецов — жертвы будущих разрушений, и постепенно меня снова стал охватывать испуг пред самим собой. Мне стало казаться, что нас два, и вот мой двойник Кандинский начал обрисовываться в страшных чертах небывалого убийцы и я снова ужаснулся. Я понял, что во мне было нечто слабое, человеческое, мешающее мне осуществить свой страшный идеал.

Я ужасался все более и более по мере того, как в воображении моем все ярче рисовался он — иллюзия моего ума — железный бесчувственный человек. Он и я не сливались воедино в моем воображении, а казалось мне, что я — слабый несчастный больной, а он — другое лицо — могучий, бесчувственный, стоящий одиноко среди человечества с умом, преисполненным бесстрашных идей, и с сердцем, веющим холодом; и вот он, одинокий среди людей, гордый и бесчувственный, намечает себе жертвы и методически, с холодной иронией, издевается над их желанием жить, незаметно перерезает какой-нибудь нерв в их больном организме и они умирают один за другим.

С этими картинками в уме своем я стоял долго, и ужас все более охватывал меня, и вдруг, в то время, когда умом моим овладевал он, в глубине завопил голос:

«Ты — сумасшедший. В твоём мозгу поселилось безумие...»

Я качнулся, точно меня кто ударил, вскрикнул и собственный голос мой, казалось, пробежал по всем нервам моего организма, и они завибрировали.

Вдруг какая-то длинная тень внезапно поползла по полу, на который были устремлены мои глаза. Я поднял голову и остался неподвижен, пораженный, как громом, с широко раскрытыми глазами, из которых, как мне казалось, лился ужас.

Передо мной стоял стройный, безукоризненно одетый господин с гордо поднятой головой, с лицом бледным, покрытым как будто тенью. От его нечеловечески гордого лица веяло холодом и бесчувственностью. Я смотрел на самого себя и холод пронизывал меня, точно за мной стоял еще кто-то и невидимо веял на меня крыльями. Из моих уст вырвался какой-то стон, в то время как глаза были устремлены на призрак.

— Ты — я!.. Правда ли это?

Злобная улыбка, точно лезвие бритвы, пробежала по его тонким губам и из глаз лился холод.

— Ты — галлюцинация. Я болен, но с ума не сошел и изгоняю тебя. Во мне есть воля, железная воля... Прочь, прочь!..

Точно буря сорвала меня с места: отчаяние подняло во мне безумную смелость и ярость, и я зашагал. Призрак удалялся от меня, как тень, и вдруг я почувствовал на себе чьи-то руки.

— Что с вами?

Передо мной стояли мои коллеги с недоумевающими, изумленными лицами, но ужас во мне был так велик, что я продолжал рассеянно смотреть, отвечая дико и странно.

— Он стоял здесь... вы не видели?.. Он — он!..

— Кто он? — слышался спокойный голос маленького доктора.

— Галлюцинация. Честное слово, я серьезно, господа. Человек какой-то... тень. Я его изгнал. На это надо иметь характер.

Мне казалось, что по лицам моих коллег пробежала отвратительная улыбка. Самолюбие мое было жестоко уязвлено и я гордо выпрямился.

— Как это странно все, — проговорил маленький, толстый доктор, с недоумением на меня глядя.

— Странно что?.. — воскликнул я резко, как бы бросая им вызов.

— На вас повлияла мертвая девушка, это ясно. Но вы, видимо, очень испуганы.

Я возразил на это что-то чрезвычайно гордо, и затем, совершенно овладев собой, начал приводить примеры галлюцинаций великих людей, посмеиваясь над ними и над собой и объясняя все подобные явления исключительно физиологическими расстройствами машины — мозга. В конце концов, овладев своими слушателями и почувствовав, что снова делаюсь прежним ультрареалистом, я с нервной веселостью рассказал какой-то анекдот, попрощался с ними и направился к двери.

В полумраке, где начинался темный коридор, стояла чья-то высокая фигура: я невольно остановился перед Гаратовым.

— Прелестно, — проговорил он.

— Что такое?

— Ваша речь, искусно сплетенная из цветов вашего зло-

го остроумия — очаровательна, и вы восхищаетесь собой не- даром: колоссальное самомнение.

— Послушайте Гаратов, ваша манера выходить передо мной точно из-под земли действует очень неприятно. От- куда вы явились, черт побери?!

— Да я же стоял здесь и видел из своего угла, как вы разговаривали с ним... А дама ваша — посмотрите, как она испотрошена...

Внезапно меня охватила дрожь; я схватил Гаратова за руку и повлек его в коридор с такой быстротой, точно меня уносила буря.

Спустя некоторое время Гаратов сидел у меня в комнате, а я ходил нервной, быстрой походкой, вздрагивая минута- ми и поглядывая на своего гостя с ненавистью и злобой.

— Вам никогда не удастся меня убедить, что видения и призраки не есть порождения известного состояния мыс- лей и нервов. Вне круга моего «я» ничего нет, абсолютно ничего — ни душ мертвецов, блуждающих в пространстве, ни призраков, ни двойников. Он не смел бы ко мне явиться, слышите ли — он, объективное он, не он — галлюцинация. На небе и на земле нет ничего нереального, и я настаиваю на этом... Никаких тайн... Слышите ли...

— Гм...

— Что?

— Ничего мы не знаем.

— Как это?

— Да так... вы же скептик, а верите в свои знания док- тора медицины.

Эта простая фраза Гаратова произвела на меня стран- ное действие: я испуганно расширил глаза и стал смотреть на моего отвратительного гостя.

— Вера, вера в свои знания, вера в знания, не само зна- ние вас окрыляет и наполняет такой приятной гордостью. Крошечное знание, но здание воздвигается огромное из лу-

чей фантазии самомнения — вот медицина. Вы не заметили, как увлеклись и стали верить. Отбросьте веру в знания и тогда подумайте: возможно, что тени и блуждают...

— Возможно!..

— Ваша дама, например...

— Дама!..

Из горла моего вырвался странный, болезненный хохот и, стараясь овладеть собой, я воскликнул:

— Чепуха!..

— Вы сами говорите: не чепуха.

— Я говорю?!..

— В вашем лице ужас: нечто породило в вас страх; возможно ли это?

Аргумент мне показался неотразимым и волнение меня охватило еще с большей силой. Я чувствовал, что теряю самое существенное, без чего я бы не мог жить — веру в свои знания, в свой ум, а без нее — чем я буду тогда? Передо мной уже обрисовался маленький, жалкий Кандинский, исшедший весь лабиринт заблуждений и заболевший коненавистничеством и манией убивать ни для кого не видимо больных, с раздвоившимся надвое «я».

XX

— Ты совершенно изменился, Кандинский, и я тебя не узнаю.

Проговорив это, Тамара опустилась в кресло и со странным любопытством начала смотреть на меня, не двигаясь.

— В чем же именно изменился?

— Изменился; ты уже не тот, и самоуверенность твоя, как будто, уменьшилась. Ты не так смотришь, не так ходишь, выражаешься как-то иначе, не с прежней решительностью и резкой отчетливостью; как-то сбиваешься с такта и иногда начинаешь смотреть очень странно, точно в глубину своей души. Что ты там видишь? Может быть, свою совесть?

— Совесть!..

— Вот, как ты посмотрел сейчас странно. Точно из глаз твоих сверкнуло на меня что-то страшное, холодное и пугливое. Положительно, ты уже не тот, и если это совесть, то я поздравляю тебя, но Кандинский с совестью, пугливый и боящийся своих собственных преступлений — обыкновенный, маленький, ничтожный человек-убийца, и я чувствую, что такого отравителя-доктора я буду только презирать и ненавидеть.

Она нервно приподнялась, глядя на меня мрачно-злыми глазами с низко спустившимися над ними, часто мигающими длинными ресницами.

— Ты обманул меня, или — это безразлично — я сама обманулась, думая, что ты человек с железной волей, на которого я могу опереться, как на гранитную скалу. Уж если ты убедил меня в необходимости идти по трупам, то должен бы, по крайней мере, оставаться до конца самим собой. Но ты делаешься иным, пугающимся, и порождаешь презрение. Ведь ты поддерживал во мне иллюзию, что ты какое-то особенное существо, рисовался и завлекал меня. Но вот скала, о которую я надеялась опереться, рушится, и я вижу себя в бездне, вместе с тенями убитых людей. Мне страшно быть одной с ними, ты это знаешь, но — лучше быть одной в этом пустом доме, нежели с тобой. Иногда ты так страшно смотришь в пустое пространство, точно разговариваешь с кем-то. Ты видишь ее, может быть?

При этом вопросе глаза Тамары испуганно расширились.

— Ее?!..

— Ее!.. Точно эхо. Что с тобой?

Увы, я давно уже перестал понимать, что происходит со мной, но чувствовал, что напоминание о ней вызывает во мне холодный трепет: в воображении моем восстала она, но, вспомнив, что о ней, разрезанной мной в отчаянной ярости, не могла говорить Тамара, я воскликнул в чувстве тайного ужаса:

— Ты о ком же?..

— О ком!.. О глупец!.. Она, она, та, которая всегда предо мной, бледная, как снег, которая щекочет меня по ночам и влечет за собой... на дно озера.

— Она тебя влечет!..

— Опять точно эхо. Ты меня не успокаиваешь, а наоборот, и неужели ты не знаешь, что это так, что она всегда предо мной по ночам и я уже начинаю свыкаться с ее обществом, но мое существование делается для меня тяжелым крестом... Кандинский, я чувствую, что ненависть к тебе все более растет в моем сердце и недалеко время, когда я скажу тебе: уйди прочь.

Точно вздымаемая чувством злобы, она снова приподнялась и уставила на меня злые глаза с какой-то скрытой радостью.

Гигант Кандинский таял в моих собственных глазах и превращался в ничтожного пигмея. Я чувствовал, что как бы проваливаюсь куда-то в бездну, где меня ожидает ужас и общество моего двойника, второго Кандинского, без третьего лица — моей Тамары. Потерять ее — означало в моем сознании мою смерть, уничтожение меня и превращение в маленького презренного убийцу; оставалось быть самым собой, и я проговорил:

— Прелестная Тамара, ты ошибаешься решительно во всем, по обыкновению. Тени мертвых преследуют только тебя и основательно: ты боишься их компании и они мстят тебе за это.

— Не лги, не лги, — хвастун и обманщик. Твоя воля провалилась — под напором совести, может быть — как плотина, которую прорвала горная река. Ты смотришь в глубину себя и тебе страшно, а мне страшно с тобой. Прочь!..

Она поднялась и, с видом гневного презрения, подступила ко мне. В эту минуту за окном раздался ружейный выстрел.

— Ты слышал?... стреляет он.

— Он!..

— Да, он, он...

— Кто он?

Она странно, как-то таинственно рассмеялась и добавила, поддразнивая меня улыбкой:

— Возлюбленный.

— Твой!.. — воскликнул я, содрогнувшись.

Она закивала головой и, не ответив ни слова, набросила на себя шаль и пошла к двери. Я попробовал остановить ее.

— Прочь! — воскликнула она, остановившись и простирая вперед руки, и прежде, чем я успел сообразить, что предпринять в моем положении, она распахнула дверь и быстро пошла вдоль залы. Я следовал за ней нерешительно, прошел мрачную залу и, очутившись на галерее, остановился здесь, глядя на удалявшуюся фигуру Тамары. Она быстро шла среди длинной аллеи, делая большие шаги, точно уносимая какими-то пробудившимися в ее душе силами. Куда она шла — я не задавался разрешением этого вопроса: в моем уме продолжало царить одно яркое, давящее меня сознание: Кандинский маленький, ничтожный убийца с разбившейся волей, преследуемый фуриями его собственной совести, как Иван, Петр и другие, и холодное здание его гордых мыслей обрушилось и разбило его самого. Презрение ко мне моей спутницы было для меня только ярким доказательством моего падения с высоты гордых мыслей до уровня обыкновенных, психически больных современных человечков. Со времени появления предо мной моего двойника, в моем уме происходила нестихаемая борьба моих прежних идей с чем-то новым, светлым, но для меня страшным, и это страшное, терзающее мою гордость, было сознание, что в этом костяном ящике-человеке чудесно скрыт дух божественный и вечный. Скрыт ли в нас дух, или мы машины — вот вопрос, преследовавший меня со времени страшной ночи, проведенной мной над телом Джели. Я мучительно понимал, что от разрешения этого вопроса зависит Гамлетовская дилемма: быть или не быть, то есть быть Кандинскому, как созданию моего ума, или он, этот железный доктор — мой бред, галлюцинация, и в таком случае мои убийства — болезнь, колоссальное самомнение больного, жалкого маленького человека. И если это так, если великий всепроникающий дух чудесно объемлет физическое тело-мир и таинственно скрыт в машине-организме, то тогда мне остается только, сознавшись, что все мои карты побиты, смиренно преклониться пред луной, солнцем и звездами и даже перед самым жалким из моих ближних, как

созданием великого Хозяина, который выше моего понимания. Я достоин одних слез и смеха, и мне остается разве одно: уединиться в пустыню и там постараться прозреть и горячими слезами и молитвой потушить пылающий ад моей грешной, истерзанной души. Такие мысли моментами мне казались бредом сумасшедшего, но в то же время я не мог не сознавать, что таков закон логики: если он, Великий Разум, отсутствует и люди-машины обречены на бесцельное мучительное верчение на гигантском колесе жизни, то мой холодный смех и даже убийства находят полное оправдание в разуме, но если Он все видит, во все проникает, если в нас скрыта вечно живущая душа и под видимым хаосом и бессмыслицей страдания невидимо царят непостижимые законы Промысла, то я здесь на земле не царь, а червь, которому разрешается разве смиренно воскликнуть, как делают это Иван и Петр: «Хозяин, я тону в океане жизни... помоги...»

Этот мучительный процесс во мне начался с того времени, как пред собой я увидел второго Кандинского. Призрак этот, мое второе «я», нанес страшный удар моим сомнению и гордости; я почувствовал полную невозможность идти по трупам и продолжать осуществлять собой идеал железного доктора. Факт появления призрака слишком ясно доказывал, что действовать по начертанию холодного ума я не в состоянии; железный доктор — дитя воображения, а я, Кандинский — несчастный, жалкий убийца, заблудившийся в лабиринте своих идей и, может быть, давно уже душевно заболевший. Слова Гаратова: «Вы ненормальны» терзали и преследовали меня неустанно, подрезая мою гордость всякий раз, как только я вступал в круг своих прежних страшных идей. Голова опускалась на грудь, ум как бы заволакивался туманом и в душе воцарялось бессильное озлобление и мучительная жалость к себе самому. Мне казалось, что кто-то — страшный, гордый, озлобленный и черный, как тень — уступая требованию моей совести, вышел из меня с проклятием и стал против меня: тень страшного доктора восстала против меня, человека. Мой двойник стал появляться часто и внезапно и вид он имел холодный, злой,

заносчивый и дерзкий; когда я созерцал себя самого перед собой, меня всегда охватывал леденящий ужас, силой воли и анализа я старался рассеять галлюцинацию.

Шагая теперь по длинной аллее и находясь под впечатлением слов Тамары, что моя воля разбита и что я уже не тот, желая разобраться в себе самом, я невольно думал, со страхом вглядываясь в темноту и радуясь, что вот не вижу его, своего двойника, и в то же время испытывая страх при мысли, что вот сейчас могу увидеть его.

«Ты — мой кошмар, обман моего зрения, и ты не думай, что я так глуп, чтобы поверить в твою реальность; мой ум и теперь ясен, как прежде, и я припоминаю — ты давно вошел в меня, лукавый железный человек, и терзал меня страшно: когда я размышлял, ты, находясь во мне, с отвратительным смехом повторял мои гордые слова. Я давно уже привык думать, что мое “я” — два “я”. Ведь я всегда мог объяснить это явление: во мне всегда было нечто такое, что противоречило мне самому и противоречило тебе, да, тебе, теперь я это вижу: я — человек, как и другие, противился тебе — духу гордости и зла. Так началась галлюцинация, я прекрасно все понимаю, и как это произошло — психологически понятно. Я всматривался в глубину себя самого с ужасом, то есть в мое второе “я”, против которого втайне протестовала моя сущность, мое действительное “я”, и протест этот был так велик, что я не в силах был вынести себя самого или, иначе, тебя, проклятый двойник; но ты обитал во мне, гордый, гордый как демон, увлекал меня и тогда-то я заболел. Моя человечность не выдержала и те два, которые боролись во мне, разделились, и я увидел себя, то есть, я лгу — тебя, увидел моего демона. Вот ты и теперь предо мной».

Я остановился, внезапно задрожав как лист, так как мне показалось, что в пустом, наполненном лунным сиянием пространстве, куда я вглядывался с опасением увидеть своего страшного спутника, заколебалось что-то темное и большое. Листья чуть слышно зашелестели и вдруг я увидел человека с черным лицом, светящимся в лучах луны. Я продолжал вглядываться, недвижимо стоя на месте, чувствуя

лишь холодный ужас, а он стоял против меня с гордо поднятой головой, с тонкой, жестоко-насмешливой улыбкой, с печатью необыкновенного холода в лице, так что мне казалось, что этот холод веет на меня вместе со звуками шелеста листьев.

«Опять ты здесь, двойник проклятый!» — подумал я, и губы мои задвигались, и отчаяние и какая-то ненависть к своему второму «я» охватили мою душу. Мне хотелось закричать громко, на весь мир, что он призрак, что я отказываюсь навсегда от воспроизведенного моим грешным умом образа, проклиная, изгоняю его, что я хочу быть только человеком, как Петр и Иван, но мои губы только болезненно задвигались и из них вырвался тяжелый стон.

Двойник смотрел прямо в мои глаза и лицо его, в рамке черных волос и бороды, казалось страшным в своем бесстрашии и равнодушии к добру и злу. Вдруг он задвигался, как облако, и стал отдаляться от меня в глубину аллеи.

— Стой! куда ты влечешь меня? Ты моя смерть. Я не иду за тобой.

Мне казалось, что я остановился после того, как сделал страшное усилие над собой, чтобы не следовать за своим двойником, но минутой спустя, к моему ужасу и удивлению, я почувствовал, что ошибся: ноги мои, наперекор моей воле, медленно двигались. Открытие это отняло от меня последние остатки воли и вдруг я зашагал быстро-быстро, так как мой двойник уже не медленно шел, а неся, как столб вихря, уносимого бурей.

В течение всего этого странного шествия я испытывал такое чувство, точно находился во власти какой-то страшной, несущей меня стихии, бессильный сопротивляться ей, и вот это нечто сверхъестественное несет меня, и мое крошечное «я» уносится в пространство, как атом, как пыль, и я сознавал в это время, что таких атомов миллионы миллионов, и почему-то это сознание мне было сладостно-приятно.

Призрак проносился все далее, по аллее, потом между стеной скал с одной стороны и берегом озера — с другой. Я следовал за ним, повинуюсь неудержимому влечению.

«Ах, это место мне знакомо», — подумал я, вглядываясь в знакомые мне скалы и траурно склонившие свои ветви над голубой водой озера кипарисы. Впереди передо мной возвышалась маленькая скала, на которой так часто сиживала Нина, а на противоположном берегу было другое знакомое мне место.

«Там в первый раз явился мне ты, проклятый двойник — ты, ты, ты приказал мне убить ее».

— Кто «ты»? — переспросил я самого себя, чувствуя, что мои мысли страшно спутываются. «Ты — я, я — ты, второе “я” — враг мой, и он — я. Я болен и это “я” — кошмар и его нет. Вот нет, нет...»

Я стоял, оглядываясь вокруг и радуясь тому, что наконец он исчез. «Ты — болезнь, кошмар мой, тебя нет, но ты был всегда во мне и терзал меня, гордый, гордый, и нашептывал мне нечеловеческие гордые мысли, и я убивал, убивал, убивал. Несчастный! Какой я несчастный, безгранично жалкий человек, и нет более несчастного меня на свете, — никого, никого нет! Кровь убитых мной разлилась в моей душе кровавой пеленой и в глазах моих ужасные круги, и всякий, кто меня видит, думает: вот страшное существо, из его глаз смотрит ужас и мрак. Спрятаться мне — некуда: везде миллионы глаз. Несчастный, несчастный доктор Кандинский! Смотри, вот здесь, здесь ты убивал ее... гордый мыслью твоей, ты убивал ее с жестокостью палача. Смотри, ее тело вот там...»

Я сидел на выступе камня, на котором когда-то сиживала Нина с мандолиной в руке, проникаясь воспоминаниями о несчастной моей жертве. Ужас к себе смешивался с жалостью к ней и мне казалось, что я слышу звяканье струн в воздухе. «О, я болен... это галлюцинация слуха...»

— Дзинь-дзинь!

«Ужасное воображение», — подумал я, охваченный трепетом, поднялся с камня и стал озираться.

Маленькое озеро, сдавленное скалами, было неподвижно и прозрачно. В голубой воде его отражались небо и звезды и все это двигалось там и искрилось. Ночь сияла; небо сверкало звездами, точно миллионами глаз, с которых ли-

лись трепещущие голубые лучи.

Я всматривался и мне казалось, что все это одухотворено и природа — огромное таинственное божество, окутанное голубым покровом. «Что же я в ней понимаю? Ничего».

«Дзинь-дзинь!» — заохала струна в моем мозгу и мне казалось, что звуки эти проходят по нервам всего моего тела до кончиков ногтей и весь я содрогнулся. Мне представилось, что с озера поднялась прозрачная, точно белый пар, фигура девушки, подплыла ко мне, вздохнула и остановилась в воздухе, блистая очертанием прозрачного лица.

«Я себя убью!..» — сверкнула в моем уме мысль и, охваченный ярким сознанием своей болезни и еще более страшных преступлений, я помчался со скалы вниз. Призраки мне не казались в это время страшными, но я сам в своих собственных глазах был ужасным, больным безнадежно и неспособным ничего понять. «Разбить голову о камень», — мелькнула вдруг мысль.

Меня что-то точно отбросило от берега, по которому я бежал, к каменной скале, но я удержался и помчался по берегу, с ужасом глядя вниз, — на свое отражение в воде. Я убежал от самого себя, стан мой согнулся, голова опустилась и мне казалось, что какие-то тени гонятся за мной и дуют мне в спину. Однако же, я сознавал, что безумствую, что ничего этого нет. Ярость охватила меня, ярость дикого зверя, за которым гонятся и, продолжая бежать, я все смотрел на свое отражение в воде с отвращением и ужасом; поднывавшие во мне ярость и отвращение к себе были так велики, что я сжал зубы и вдруг отвратительно захохотал.

От моего горла вовнутрь точно проскользнуло что-то и мне казалось, что кто-то засмеялся во мне, — протяжно и жалобно.

— Что со мной? — воскликнул я, остановившись, и вдруг, невдалеке от себя, услышал знакомый голос.

— Он делается невыносимым, ужасный этот Кандинский. Представь, он превращается в жалкого труса. Я ужасно ошиблась в нем.

«А, вот как!» — подумал я с отчаянием и злобой, сделал

несколько шагов по направлению голоса и остановился в узкой долине, по сторонам которой громоздились высокие скалы причудливых форм. С голубого неба лился лунный свет и наполнял долину голубым сиянием. Огромные камни, разбросанные в разных местах точно руками каких-то великанов, стояли в самых фантастических положениях — иногда прикрепленные одним своим концом к скале и казавшиеся висящими в воздухе.

Я стал озираться. Где-то в стороне сверкнуло крошечное озеро, и вдруг я увидел две фигуры — мужскую и женскую. При первом взгляде на них во мне зашевелилась дикая ярость и, казалось, сдавила мне горло. Я стал дышать порывисто и часто.

На огромном камне сидел грузин, которого я раз видел уже, в черкеске и папахе, и красивое лицо его, белеясь в лунном сиянии, выражало, как мне казалось, торжество победителя. В его положении это было уместно: Тамара полужела в его объятиях, положив голову на его колени, так что черные волны ее волос свесились над водой. Поодаль стояло, прислоненное к камню, ружье, при взгляде на которое мне припомнились таинственные выстрелы, после которых Тамара надолго куда-то исчезла.

Грузин заговорил:

— Не могу я тебя любить, как прежде, не стоишь ты... мне кажется, ты вся в поцелуях этого убийцы...

Он слегка оттолкнул ее, а она, содрогнувшись, как прибитая, не отошла от него, а наоборот: в блеске луны сверкнули ее поднявшиеся кверху руки и я видел, как она обвилась ими вокруг его шеи.

— Возьми меня... или я погибла. Мне страшно одной и я не могу жить. Ты такой славный, такой благородный и с тобой мне так хорошо...

Она прильнула к его лицу губами, и он, сознавая, как мне казалось, в себе победителя, великодушно разрешил ей это.

Был момент, когда мне хотелось броситься к нему и схватить его за горло; но трусость, явившаяся ко мне вместе с моими преступлениями, трусость убийцы уничтожила мой дерзкий порыв и вместо того, чтобы броситься вперед, я, в

порыве глубокого отчаяния и отвращения, быстро направился вниз, к саду. Озлобление росло, заглушая совесть и всякий страх пред призраками. Уносясь в даль сада, я с вызовом поглядывал по сторонам, но среди ночного безмолвия только величаво выступали одни за другими контуры огромных чинар и грабов, по которым таинственно искрились лунные лучи. Мне казалось, что все вокруг преисполнено тайнами, в глубину которых мне никогда не проникнуть; вглядываясь в голубое небо и вопрошая: «Кто там?», я отвечал самому себе: «Загадка»; углубляясь в свое сердце, я спросил себя, что там было и что есть, и отвечал самому себе: буря, страдание, гордость. «О, я бесконечно мал, ничтожен, как пыль, как атом, вертящийся в беспредельности, и ум мой — безумие. Какой-то холод проник в мой мозг, мое сердце, разлился по всем суставам моего тела...» В ужасе я охватил свой лоб руками и опустился на камень.

Был ясный весенний день, когда я, направляясь к дому княгини, ехал по ее владениям, с горечью подумывая о том, что все окружающее меня — земля, леса и горы — делалось теперь ее собственностью, но что она сама выскользнула из моих рук и, странная иллюзия: мне казалось, что под землей, по которой я еду, всюду покоятся трупы и кости их расходятся по всем направлениям.

Подъехав к дому, я с удивлением увидел стоявшую у крыльца коляску, к которой поспешно привязывали чемоданы и сундуки. Войдя в комнаты, я был поражен царившим беспорядком и беготней лакеев. Вдруг дверь распахнулась и передо мной в дорожном костюме появилась Тамара.

— Милостивый государь, что вам надо? — спросила она резко и продолжала: — Доктор теперь совершенно лишнее лицо в этом доме. Здесь больных больше нет, а я навсегда уезжаю. Здесь ходят призраки убитых вами ваших больных.

Вам здесь нечего делать. Прощайте.

Мной овладел род столбняка и я смотрел на нее, не двигаясь.

— Прощайте же, — воскликнула она и с убийственной иронией добавила:

— Вы вообразили, что ведете меня за собой, а на самом деле это было не совсем так. Вы выполнили все, что мне было необходимо, но к убийцам чувствуют не любовь, а ужас. Больше вы мне не нужны.

Во мне закипел гнев и я шагнул к ней.

— Прочь! — воскликнула она, вынимая из кармана револьвер и направляя его в мою грудь.

— Стреляйте, — сказал я, в один момент овладев собой и чувствуя полное спокойствие, и, клянусь, в этот момент я искренне желал, чтобы она убила меня; но Тамара, не опуская револьвера, вильнула, как змея, и пошла по коридору к крыльцу...

XXI

Ночь давно наступила. Вокруг громоздились горы и скалы и в необъятной вышине миллионы звезд на все это небрасывали переливающееся сияние. Ночь молчала. Небо дышало безмятежным покоем и точно гигантскими голубыми крыльями с нежной лаской распростерлось над миром. И, среди божественного покоя природы, с одной горы на другую взбирался одинокий путник, в груди которого klokoтал ад и буря души его обезображивала его красивое, бледное лицо. Он был одет, по своему обыкновению, в франтовское платье, но теперь оно местами было изорвано колючим кустарником и цилиндр его был безобразно смят. В руках его была тяжелая, грубая палка. Этот человек был — Кандинский.

Я потерял счет дней и ночей, проведенных в горах, и мысль возвратиться к людям поселяла во мне страх и отвращение. Не только общество таких же, как я, интеллигентов,

но даже попадавшие мне изредка пастухи и горцы заставляли меня вздрагивать: мне казалось, что на лице моем есть отпечаток, явно говорящий всем: убийца, и только пролетавшие надо мной орлы, казалось, были моими добрыми товарищами — гордые, кровавые и свободные.

Чем дольше я находился среди простора гор в совершенном уединении, вглядываясь в бездонное голубое небо, чем дольше я созерцал необозримое пространство гигантских гор, бесконечными рядами громоздившихся одни над другими, тем ярче меня охватывало сознание, что в громадных человеческих муравейниках-городах люди — скрытые убийцы, всю жизнь не снимающие со своих лиц масок судий, врачей, философов — и в этом их бесконечное мучение; они не те, какими их создала природа и, втиснутые в футляр лицемеров и кривляк, перерождаются в чертей и дьяволов. В особенности могу сказать это про себя: мое сердце прожгли огнем гордости и злобы и в мой мозг влили отраву лжеумудрствования, и вот я прошел через все ступени: скептика, мученика мысли, человеконенавистника, дьявола с отшлифованным тонким умом и дипломом спасителя ближних, лицемера, лгуна, убийцы и, наконец, сделался самым злосчастным существом — обезумевшим под тяжестью своих грехов и гордости, больным. Я всматривался в безмятежный мир, веющий с голубого неба, и с ужасающей ясностью ощущал никогда не утихавшую бурю в душе моей, которая гонит меня по горам и ущельям дни и ночи. Моя железная воля — самообман, я сам был рабом ее; свобода ума — иллюзия, я никогда не был свободным, ибо гордость моя властвовала надо мной. Я заносился страшно, как конь, вздернутый железными удилами на огромные скалы и взвившийся там на дыбы. Теперь во мне ничего, ничего не осталось, кроме сознания глубокого несчастья и безумия своего. Какой-то голос во мне постоянно твердил: убийца, и в ужасе я убегал от своего страшного двойника в горы и ущелья. И посреди бури души моей, с чувством нестижаемой обиды и злобы, я вспоминал о союзнице моих преступлений, с отвращением бросившей меня. Иногда нарочно, желая еще более усилить свои мучения, я рисовал

себе картины ее новой любви, и тогда во мне подымалась глухая, бессильная ярость, новые убийства рисовались уму моему, и потом являлось желание умертвить себя.

Что жизнь для меня делается невозможной, — это я понимал ясно и отчетливо. Однако же, мне все-таки хотелось разобраться в хаосе моих мыслей: если прежние были сенью дьявола гордости, то, очевидно, что истина обретается не среди бурь гордого сердца, а среди смирения и ненарушимого покоя. Очевидно также, что понять ничего нельзя умом и, так как он бессилен в разрешении вопросов, мучивших меня, то остается одно: широко раскрыть свое сердце для света, льющегося с этого неба. Я, так сказать, вызывал на поединок то Нечто, которое являлось властителем природы и миллионов людей, но в этой борьбе Невидимое победило меня, и потому мне остается только смиренно преклониться пред Ним и просиять духом в отражении света, льющегося с Голгофского креста того Мученика-Человека, который умел много верить, много терпеть и много любить.

В теории это выходило так, но как осуществить такие мысли — это другой вопрос. Я чувствовал в себе полнейший хаос, среди которого кружились отчаяние, злоба и ужас. Небо было высоко и недостижимо для меня, рай смирения и любви не мог охватывать душу, с глубины которой подымался ужас и гнал меня по горам, точно желая укрыть меня от самого страшного для меня существа — меня самого.

Несмотря на это, теперь я шел все вперед к монастырю, точно меня подстрекали какие-то голоса. Зачем и куда — я не думал об этом, повинаясь внутреннему чувству, побуждающему меня идти все дальше. Вдруг, в то время, когда я взошел на вершину новой горы, в отдалении с глубины ущелья стал показываться церковный крест, точно выплывая в голубой простор воздуха. Остановившись, я долго смотрел на крест, точно передо мной появилось что-то давно знакомое, еще с дней далекого детства, недостижимо высокое и в то же время обыденно-простое, что я в прошлом всегда с гордостью отвергал, как недостойное моего ума. И вдруг мой мозг как бы пронзила мысль, что мой единственный оплот — крест — символ любви и смирения, и по мере того,

как я смотрел на него, мне казалось, что, искрясь в лучах заката, он уплывает все выше и выше, уносясь в голубой свод неба, и я почувствовал, что недостижим он для меня, как звезда небесная, и, рассмеявшись коротко и глухо, повернул обратно; но, как-то против моей воли, я снова направился к монастырю, и в воображении моем обрисовался старичок, добрый, бесконечно добрый. Он стоял где-то вверху и влек меня, ласково кивая белой головой и улыбаясь широко, доброй улыбкой. «А, вот кто меня влечет — старикашка», — подумал я, вглядываясь в глубину меня самого и приходя к удивившему меня открытию: мысли могут быть в человеке, не сознаваемые им, и они самые могущественные, так как направляют человека, как невидимые властители, помимо его воли. Может быть, это наше внутреннее второе «я», наш невидимый ангел-хранитель или черный дух, но он вычерчивает путь жизни, называемый судьбой. Сложен человек, непонятен и загадочен, а я в своей безумной гордости вообразил, что его чувства — нервы, душа — мозг, сердце — колесо. Я не видел нитей, идущих от нас в область непостижимого, а теперь вижу: мои собственные порвались и я лечу с отчаянием в бездну мрака и ужаса. Теперь я думаю наоборот: всякое существо невидимо соединено с горним миром, иначе не было бы мучеников любви, страдальцев за идею, никто не взошел бы на костер с гимном Неведомому и, посреди объятий пламени, не мог бы чувствовать себя как в раю; нигде не слышался бы грустный плач о грешном мире и не звучали бы струны, призывающие людей к блаженству безгрешных душ; не было бы мучеников, не было бы безумных, и я, Кандинский, не ужасался и не негодовал бы в вихре своих умствований и лжевыводов, что человек — машина, а вселенная — гигантский организм; мои бедные жертвы не лишали бы меня тогда сна.

Грудь моя заколебалась, точно внутри ее поднялась какая-то горячая волна и подступила к горлу. Я облокотился на камень и охватил руками свой лоб. Волна, подступившая к горлу, казалось, бросилась теперь к моим глазам и я почувствовал, что из них потекли крупные, горячие слезы, одна-

ко, не облегчившие меня нисколько: казалось, огненные вихри крутившихся во мне ярости и отчаяния прожгли мои глаза и выкатываются из них горячими каплями.

Солнце давно зашло и тихое звездное небо, на котором сиял двурогий месяц, снова распростерлось над землей, когда я стоял у основания башни отшельника, вглядываясь в ее маленькие окна в надежде увидеть там ее обитателя. Однако, это мне не удавалось. Тогда я стал подниматься вверх по каменной лестнице, попадая иногда в какие-то коридоры из вьющегося плюща и потом снова взбираясь к вершине башни по каменным плитам. После продолжительного путешествия я очутился на узенькой лестнице в середине башни, среди плесени и сырости. Что-то пело вокруг меня и стонало и казалось, что лестница с болью ворочалась и что из глубины сырых камней смотрят на меня чьи-то глаза. «Убийца — трусливая, омерзительная тварь», — подумал я в чувстве сознания своего глубочайшего позора и унижения, до которого только может опуститься человек. Теперь не было во мне ни гордости, ни злобы, но сознание своего несчастья охватило меня с такой силой, что какая-то слабость овладела всем моим существом и, хотя я медленно взбирался вверх, но мне казалось, что я скатываюсь вниз в какой-то узкий, бездонный колодезь.

Внезапно надо мной блеснуло голубое небо. Я очутился на узенькой площадке, около крошечной двери, ведущей в келию, в окне которой мерцал лампадный свет. Глубоко подо мной покоилась земля, испещренная темными пятнами пропастей и подымающихся к высоте гор и скал, точно грозные часовые в черных ризах, охранявшие мир безмятежной радости, льющейся с неба. Величие, беспредельность, какая-то молитвенная тишина — все это вселяло в меня ощущение своей ничтожности, жалкого безумия, с которым я гордо делал вызов этой таинственной великой природе; глубоко я сожалел о утраченной чистоте и в то же время мне хотелось пасть перед великим Неизвестным и сбросить с себя страшное бремя прошлого; но в момент искреннего порыва я, к удивлению своему, на другой стороне площадки увидел фигуру какого-то человека в цилин-

дре, который стоял, отвернув от меня лицо свое, и так близко у края площадки, что я ужаснулся: мне казалось, что он сейчас упадет. Совершенно невольно я сделал несколько шагов вперед и остановился: господин в цилиндре быстро повернул ко мне свое бледное лицо и улыбнулся злой, человеконенавистнической улыбкой, в то время как из глаз его лился холодный свет, который всего меня пронзил холодом и я задрожал, как лист, глядя на второго, «железного доктора».

— Я — не ты. Я все-таки человек, ты — злой дух. Ты хочешь броситься вниз. Это великолепно. Освободи меня от себя... сделай милость...

Слова исходили из моих уст, точно вихрь, и мне казалось, что все это я говорил бессознательно, в порыве ужаса и отчаяния.

— Сделай милость... бросься вниз и освободи от себя... О, как я хотел бы быть человеком, как все, как Иван и Петр... Бросься же вниз... Не мучь меня... Я убивал в безумии... Тот Некто простит мою болезнь... Бросься же вниз...

Глухие звуки моего голоса раздавались, точно вопли из могилы и, хотя я умолкнул, мне все-таки казалось, что внутри меня кто-то страшно вопит и бьется, и ужас охватил меня еще с большей силой. А чудное небо, обвинившее землю точно голубыми крыльями, и вся природа мне казались теперь раем, и я один посреди этого рая испытываю муки и ужас, потому что в сердце моем ад, и я почувствовал глубокое несчастье свое, невыносимое одиночество убийцы, бьющегося в своих цепях посреди мира и тихой молитвенной радости голубой природы. И мой двойник, как бы отвечая мне, отвратительно рассмеялся, вызвав во мне припадок безумной ярости. Не понимая, что делаю, я шагнул уже к нему, как вдруг железная дверь, у которой я стоял, издала резкий звук, повернувшись на петлях своих, и между мной и им, с фонарем в руке, появился маленький, белый старичок. С минуту он смотрел на меня неподвижно с необыкновенным сожалением и печалью в лице, и мне казалось, что какой-то свет, исходящий из его глаз, врывается в мою душу, разгоняя мрак, царивший там. Вдруг он замигал гла-

зами и в страхе и сокрушении, бросившись ко мне, схватил мой руку.

— Милейший господин мой, вы в жестоком испуге находитесь... Здесь никого нет, а между тем, вы разговаривали с кем-то...

— Никого нет... а он... ах, правда, вы не видите его, святой отец... Но он всегда со мной... преследует меня, гонит... вот он, вот...

Я снова испуганно стал смотреть на своего двойника. Старичок взглянул, в свою очередь, по направлению моих взоров, повернулся снова ко мне и, всплеснув руками, весь как-то присел, глядя на меня с невыразимым сожалением.

— Милейший господин мой, это ваши черные мысли следуют за вами. Мысли эти и грехи — единственные противники Бога. Они-то и есть дьяволы сынов мира сего.

— Вы думаете?

— Милый сын мой, мы все дети одного общего Отца. Сделайте подвиг: смиритесь перед Ним. Я говорю: подвиг, потому что для гордого человека вырвать гордость из сердца — великая заслуга.

— Это правда.

Проговорив это, я задумчиво смотрел в морщинистое, дышавшее неземной любовью лицо старика, и мне казалось, что предо мной не человек, как все — из крови и костей, а вечный дух, временно заключенный в старое, хилое тело. «Человек — дух, — подумал я, — а доктор Кандинский — падший дух», и мое прежнее гордое здание идей показалось мне ничтожной лачужкой, возведенной моим безумием и гордостью. Думая так, я продолжал смотреть на старичка и, взамен прежней бури и смятения, в моей душе шевельнулось что-то светлое и радостное.

— Где же ваш враг, добрый господин мой?

— Какой?

— А вот, с которым вы беседовали.

Я взглянул на край площадки: там никого не было.

— Он там был, но его нет теперь.

— Вот видите, этот он — ваши черные мысли. Они рассеялись и это я прочел в вашем лице, добрый господин мой,

и подумал: слава Богу, слава Богу.

— Как вы все видите!.. Может быть, видите и то, что во мне... Я хочу показать сердце мое...

Что-то снова помутилось в глазах моих и в один момент из глубины меня поднялось что-то темное и злое.

— Потом, я, по вашему мнению, добрый. Скажите на милость, — ха, ха, ха!..

— Частица добра и любви таится даже и у лютого тигра, сударь. Нет такого сердца, где бы ее не было, как нет такого темного места на земле, куда бы не проникли лучи звезд и солнца; в подземную пещеру — и то проникают. Бог — большое солнце, разливающее лучи добра, любви и истины, и Он не оставляет даже змею, несущую в себе яд смертельный.

Я вздрогнул: так ясно мне представились заблуждения мои, а старичок, пристально взглянув на меня, схватил мою руку и стал ее гладить своей рукой.

— Не волнуйтесь, побеседуем лучше. Волнение мутит дух и разум. Пойдемте, господин мой, ко мне, пойдемте.

Я стоял упрямо на месте; во мне поднялось желание сразу отчеканить старичку всю истину и отрекомендовать себя: к этому влекло неудержимое желание знать, что делается тогда с святым человеком, и вот я со злобой проговорил:

— Постойте, святой отец. Вот я вам скажу одну штучку...

— Говорите, сударь.

— Обнаружится, что вы, как все, отскочите от меня со страхом.

— А какую же это штучку вы можете мне сказать, милый сын мой, и притом такую, чтобы из сердца моего вылетела любовь к ближнему? Поистине, ничтожным я тогда окажусь и могущественно ваше слово, когда оно победит добрые чувства мои. Говорите же, боязливый человек, вашу штучку.

— Штучка, вот она, слушайте.

— Без боязни, сударь, говорите все.

— Я-то ведь...

— Что, сын мой, что?

— Весь в крови.

Руки старика с трепетанием быстро приподнялись и он охватил ими меня, как бы желая меня успокоить. Он смотрел на меня с неизъяснимой жалостью.

— Ужаснулись?

— Нет, сын мой, нет, сын мой!

— Можно бы ужаснуться. Ведь я убийца не такой, как Каин. Каина можно простить, а меня нет. Я убивал с методическим расчетом, разрезал сталью и мучил, мучил... Я — доктор и прикрывал мнимым желанием спасти людей свои убийства... Понимаете ли вы, понимаете ли вы!..

Трепетание старческих рук на моих плечах чувствовалось все сильнее, лицо стало выражать все большую жалость, и вдруг все его маленькое тело затрепетало на моей груди и забилося.

— Надо мне броситься с этой башни?.. Надо ли? Скажите, я это сделаю.

В сознании, что я представляю нечто ужасное, я шагнул к краю площадки, но трепещущие руки старика от плеч перебежали к моей шее и забили там, и все его тело затрепетало еще сильнее; среди тишины слышались рыдания.

— Право, меня надо оставить, святой отец... Право, надо... вы сами видите...

— Вижу, вижу, сын мой — ваше несчастье, — заговорил он быстро, отняв лицо свое от моей груди. — Плачу я от жалости, но чтобы оставить вас в таком сокрушении и муках — этого вы и не думайте.

— Серьезно!.. — проговорил я вдруг в чувстве неожиданно охватившей меня радости. — Вы не убежите от меня, как от духа ада?...

— Я хотел бы вас пригреть, как мать ребенка, душу вашу страдавшую осветить лучами любви.

— А вы говорили, что Бог разливает лучи добра: в моем сердце не было ни одного.

— А кто же вас гнал по горам, сударь, пока сюда пришли?

— По горам кто гнал?

— Да, сын мой.

— Это *он* все, а, может быть, и не *он*, не знаю.

— Совесть гнала вас, ужас перед тем, что совершили. Вот и выходит, что добро была сокрыто в груди вашей от рождения. А вот сейчас даже броситься с этой башни захотели: это означает, что вопль уже поднялся в сердце вашем, великий плач и мучения стали невыносимы. Любовь многими устами заговорила и недалеко вы, сын мой, от небесной радости и тихого умиления в сердце вашем. Железо чистится огнем, а человеческий дух — в огне мучений, а иногда и в крови...

Я всматривался в его лицо с чувством радости и изумления и вскрикнул:

— Отец святой, теперь к вам пойдем. Докажите мне, убедите, что я еще могу существовать.

Схватив руку старика, я шагнул к двери. Она издала странный звук и мы очутились в крошечной келье, озаренной мигавшими перед образами огоньками восковых свечей.

Как только я вошел сюда, мое настроение мигом изменилось: обстановка слишком явно говорила, что я имею дело с человеком суеверным, простым, и знакомое мне чувство гордости снова охватило меня. Отшельник, между тем, подвел меня к образам и сказал, усаживая меня на стул, стоявший под ними:

— Садитесь, сын мой, садитесь.

Я невольно вздернул голову и с насмешкой посмотрел на иконы.

— Эти господа, святой отец — общество слишком высокое для меня.

— Вновь повторяю, что самый лютей ваш враг — гордость. Опять вы с врагами вашими, а когда они с вами — мир отлетает от вас. Сын мой, зачем так казнить себя без милосердия, зачем? Все стремится к радости на свете и никакое создание умышленно не причиняет себе боли. Один человек способен истязать себя и бросаться в огонь...

— В огонь!..

— А как же, сын мой!.. Прозреваю я — вы всегда в пламени горели и бичевали себя, правда, не бичами и вервья-

ми, как послушник, а во стократ лютее: скорпионами гордости, а сладкого успокоения мучеников истины не знали; напротив — пламя еще больше разгоралось. Так казнить самого себя может только человек бедный.

— Вы говорите удивительные истины, святой отец, и совершенно новые, — проговорил я, искренне проникаясь его словами.

— Ничего, сын мой, нового, ничего. Правда не может быть новой. «В начале бе слово», а потом уже явился мир. Истина не может ни родиться, ни умереть, но только временами как бы затмевается в умах людей и горе им: их постигают мучения и скорбь. Это самое и с вами случилось, сын мой: истина померкла в вас и явилось мудрствование, а с ним и грех. Так одно вызывает другое. Ничего нового.

— Но со мной было новое, отец мой. Безумие или ум, не знаю как назвать, но мысли мои овладели мной. Они толкали меня убивать, но не делал я этого, как Иван и Петр, по вспышке зла: хуже, хуже, хуже!.. Нет названий им. В аду они не значатся и на небе таким, как я, не вели счета. Это что-то новое, отец святой.

Удивительное существо человек: даже и здесь, среди пропасти, в которой я очутился, и ужаса перед самим собой, моментами во мне все-таки вспыхивало гордое сознание, что таких, как я, все-таки не было, а слова: «Это что-то новое, отец святой» я проговорил даже совсем гордо и на миг чувство самообожания овладело мной с прежней силой.

Отшельник расставил руки с видом огорчения и неизъяснимой жалости и, укоризненно покачивая белой головой, спросил:

— Сын мой, сын мой, отвечайте же сами себе: радостно ли вам в сердце вашем или ваше новое создало вам одно терзание?

— Терзание, отец святой! горю я, и это совершенная правда, я горю!.. — воскликнул я в страшном смятении и снова опустил свой голову.

Отшельник, подойдя ко мне, долго смотрел в мои глаза с необыкновенным выражением любви и сожаления одновременно, и вдруг поцеловал меня в лоб и мне показав-

лось, что губы его обожгли меня, как огнем, и я весь затрепетал.

— Зачем вы это сделали, отец святой?!..

— Сын мой, сын мой, да будет с вами мир. Новое же ваше — старое зло в новом одеянии. Не будем говорить об этом. Садитесь, сын мой, и не гордитесь больше. Для жизни в обществе вы уже как бы мертвец, а это может быть источником новой жизни — в истине и тихом сердечном счастье.

— Невозможно это. святой отец. Убийца — труп, если он ужасается тому, что делает. Ключ новой жизни не забьет в груди его никогда. Удивляюсь, как вы можете относиться ко мне так... по доброте только... Удивительный вы, удивительный!..

— Вы — мученик, сын мой, а возложили вы на себя этот крест, потому что не умели подойти к истине. Поищем другого пути к ней... хотя нелегко это для вас, но посмотрим... Найдете — и сладостно вам все покажется, сладостно... Смирение — ступень к великой сердечной радости. В миру погибнете, а здесь у меня, в келии, под звездами, найдете мир...

Говоря это, он покачивался на стуле и улыбался радостно-светлыми глазами, а я стоял недвижимо, вдумываясь в его предложение остаться с ним, и что-то гордое и злое шевельнулось во мне, точно черное облако, заволакивая воцарившийся было мир во мне.

— В келейке в этой, сын мой, останьтесь, не гордитесь. Повторяю, вы уже совершенно умерли для прошлой жизни и безвозвратно. Вы как бы мертвец...

— Так пулю в лоб! — вскричал я во внезапном порыве охватившей меня злобы и волнения. Это было так неожиданно, что старичок даже качнулся на своем стуле и уставил на меня грустные глаза свои. Мне казалось, что из глубины их льется прямо в мою душу голубой грустный свет и наполняет меня всего, и через это я стал впадать в еще большее раздражение.

— Жизнь — гигантская комедия, в которой Он незримый режиссер, мы — шуты, а мир — сцена. Не хочу доигрывать этой дурацкой пьесы даже у вас в келье. Смешно это — ха,

ха, ха!.. Я буду жить здесь и впивать в себя елей ваших слов, — какое жалкое превращение! К тому же, я должен откровенно сказать, я отрицаю Царя Небес всеми мыслями и нервами моего существа. Если же допустить, что Он там и все видит, то кто же повинен в том, что существует на свете господин Кандинский?

— Сын мой, воздержись... воздержись, сын мой... Не терзай меня непристойным воззванием к Богу.

— Так вырвите мой мозг и порвите нервы мои. Он вложил в меня эту машину, и если стрелка мыслей моих направилась не в ту сторону, куда следует, то почему же это вина моя? Я прав, когда рассуждал согласно доводам своего ума, и это я готов прокричать небесам. Я убивал людей — согласен, но я ведь подражал природе, и только. Вы ужасаетесь, святой отец, в вашем рабском смирении; но смирение — уничтожение себя. Уничтожить себя я могу более положительным способом — опиумом, морфием и еще многими другими снадобьями, и если такое состояние есть нирвана небожителей, то я не желал бы быть в их компании. Прощайте, отец святой, и вспоминайте, пожалуй, несчастного, самого гордого мученика, доктора Кандинского.

С этими словами я, как бы снова обвеянный облаком гордых мыслей своих, быстро шагнул к двери. Что-то точно клокотало во мне, билось и рвалось в моей груди. Отшельник, в чувстве ужаса и сокрушения, поднял кверху руки с таким выражением, точно говорил: «Небо, ты видишь, я ничего не могу сделать с этим безумцем».

Очутившись снова на площадке, я невольно взглянул на тихое, молитвенно распростертое над землей небо и, ощутив снова ничтожность свою, ужаснулся и в отчаянии кощунственно закричал:

— Природа — божество, это весьма возможно, святой отец, но если она сознательно породила миллионы безобразных, несчастных, страдающих людей и тысячи лет равнодушно созерцает их корчи и муки, то, согласитесь сами, наша общая мать — особа совершенно бесчувственная, старая психопатка, для которой вопли и стоны ее бесчисленных детей — сладчайшая музыка. Вы сами видите, что молитво-

словить в этой колоссальной сансаре, наполненной дьяволами — труд напрасный и молитва моя к небесам может быть разве такой: пусть почернеет солнце и сорвутся звезды; ядовитые испарения пускай подымутся из всех нор земли, разольются в крови миллионов существ, чтобы невозможна была никакая жизнь на земле и тогда, посреди хаоса, вихрей и тьмы, пускай, пожалуй, звенят колокола, уныло и печально оплакивая гигантскую комедию жизни.

Я бросился к лестнице, а старик, охваченный ужасом и трепетавший всем своим маленьким, худым телом, опустил-ся на колени и воздел кверху руки. Среди охватившей меня тьмы, я со злобным сарказмом подумал: «Напрасно ходатайствуешь: по адресу не дойдет».

Я мчался по узенькой лестнице среди сырости и тьмы, и странная иллюзия охватила меня: мне казалось, что я низвергаюсь с вершины какой-то светлой обители, где мне было так хорошо, но где я не мог оставаться со своими грехами, и вот я падаю все ниже, толкаемый своими демонами... Дикая, отчаянная ярость охватила мое сердце; мой мозг, казалось, бился во мне, точно что-то живое, грызущее меня и разливающееся во мне огненной лавой. Все нервы мои содрогнулись и чувство ужаса толкало меня вниз по лестнице, так что я не шел, а как-то скатывался.

Очутившись снова на земле и мгновенно охваченный радостью, я невольно взглянул на вершину башни: где-то высоко, точно плавая в голубом эфире, белелась коленопреклоненная фигура старика с руками, воздетыми вверх. «Конечно, он ходатайствует за меня», — промелькнуло в уме моем и я продолжал всматриваться в белую фигуру отшельника, в то время как в мозгу моем мучительно и насмешливо отдавалось:

«Заступись, старичок, заступись. Ты пользуешься там хорошей репутацией и протекция твоя мне необходима. Заяви, что жестоко так мучить бедного доктора, виновного только разве в том, что он не понимает ни того, что происходит здесь на земле, ни того, что происходит на небе».

Я хотел смеяться, но из моих уст вместо смеха выходил лишь какой-то страдальческий стон, сердце сжималось все

мучительней и тоскливей, в то время как глаза неподвижно смотрели на вершину башни, и вдруг как-то неожиданно меня охватил порыв неудержимого отчаяния: я бросился лицом на траву, в груди заколыхалась какая-то горячая волна и слезы полились из глаз ручьем. Я плакал, как ребенок, в сознании, что выход для меня один — добровольная смерть, и что для меня, с моей гордостью, невозможно пасть на колени и найти духовную радость и успокоение в молитве и раскаянии; невозможно также вернуться к прежней жизни. С необыкновенной ясностью я понял, что дошел до края бездны и свое существование я должен окончить.

Прошел год.

Я переезжал из города в город, как бы желая убежать от самого себя, но это мне не удавалось: мой собственный образ неустанно преследовал меня и гнал с места на место по всей необъятной Руси. Нечего и говорить, что в своих собственных глазах я пал безвозвратно и, конечно, не верю больше в свой ум. Моя гордость во мне смертельно ранена. С глубины моего сердца подымается совесть и овладевает умом и волей моей. Тогда перед моими глазами являются призраки убитых мной пациентов и гонят меня, точно крылатые демоны свою жертву, пока на смену совести не является мститель: мучительное, яростное озлобление. Тогда мне трудно удержаться от желания новыми убийствами сбросить с себя давящий меня кошмар и я убегаю от своих пациентов.

Наконец, я решаюсь умереть. Я почувствовал какую-то торжественность в душе. В настоящую минуту, вписывая эти последние строки, я пью кофе в Н-ой гостинице, в Москве, и после последнего глотка твердо решил позволить себе маленькую роскошь: десерт из синильной кислоты».

ОБ АВТОРЕ

Анатолий Оттович Эльснер родился в 1856 г. в Херсоне в дворянской семье надворного советника О. Ф. Эльснера, инспектора училищ Херсонской губернии. Дед по матери — Ф. М. Гауеншильд, директор Царскосельского лицея, по отцу — барон Ф. Б. Эльснер (1770-1832), преподаватель военных наук в Царскосельском лицее, в конце жизни директор Главного инженерного училища.

Вероятно, жил какое-то время в Тифлисе, где происходит действие романа «Железный доктор» (1903) и где в 1897 г. вышел авторский сборник прозы, драм и стихотворений «Зеленая книга».

Публиковался как под собственным именем, так и под псевдонимами А. О. Эльснер-Коранский, А. О. Эльснер-Каранский, Цезарь Писарев, Юрий Кэр. Был членом Общества русских драматических писателей.

Опубликовал поэмы «Торквемада» (1888), «Палач и Христос» (1906), «Сойдите вниз» (1907), драмы «Современная героиня» (1892), «Человек судьбы (Наполеон)» (1905), исторический роман «Царь Петр Великий» (1903) и др.

Наибольший интерес представляет ряд фантастических и оккультно-мистических романов, опубликованных в предреволюционные годы: «Железный доктор» (1903), «Грозный идол, или Строители ада на земле» (1907), «Рыцарь духа» (1915), «Бес ликующий» (1916).

В начале 1917 г. А. О. Эльснер проживал в Петербурге на Крестовском острове. Судьба его после революции остается неизвестной.

Роман «Железный доктор» был впервые опубликован в Петербурге в 1903 г. т-вом «Книговед». Публикуется по указанному изданию с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, однако в тексте максимально сохранены особенности авторской пунктуации.

В оформлении обложки использована картина Г. фон Макса «Анатом» (1869).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.